

— Разве вы единственный врач в Бриджстауне?
— Зато я самый безвредный из них!

Рафаэль Сабатини. Одиссея капитана Блада

Утро в госпитале выдалось прекрасное — морозное и свежее. Облака напоминали взлохмаченную сахарно-белую вату — прямо как на моей руке; правда, моя вата была пропитана кровью, а на небе — новенькая, только из упаковки.

За ночь в госпитале выветрились запахи лекарств, разложения и тоски, и он стал похож на небогатый санаторий где-нибудь в тени под Машуком. До обеда еще можно было считать, что ты и вправду находишься в санатории на казенном счету; но после обеда, после всевозможных процедур, перевязок и анализов, когда в очередной раз зануют все простреленные конечности, вырезанные аппендиксы и стертые до мяса ноги, а по аллеям и коридорам вновь распространится запах лекарств и разложения, тогда госпиталь вновь станет собой — глухим приютом для списанных.

Я сидел на сырой лавочке в тени дикой яблони и ждал звонка на завтрак. По обыкновению я пытался расшевелить пальцы правой руки, которые по утрам всегда были одеревенелыми. Из-под бинтов вместо пальцев выглядывали опухшие, побуревшие от грязи сосиски с белесоватыми, как мокрый мел, ногтями. Зрелище, скажу вам, не из приятных, особенно если брать во внимание то, что назвать это пальцами пока было трудно. Поначалу мне даже смотреть на них не хотелось, но со временем пришлось свыкнуться, и теперь я тешил себя мыслью, что когда-нибудь пальцы вновь станут нормальными.

Сестра Зоя сидела рядом, курила и искося смотрела на мои попытки оживить непослушную плоть. Поутру она всегда была приветлива и даже разрешала покочегничать с ней. У меня это получалось неважно, да и не хотелось, если честно: во-первых, я вот уже полторы недели сидел на сильнейших антибиотиках, во-вторых — сестра Зоя была замужем, и не просто замужем, а замужем за моим лечащим врачом, спасителем моим, майором Л. Вакенадом.

Судя по всему, майор был отличным мужиком и, наверное, прекрасным хирургом, но лично ко мне он относился с непонятной настороженностью, передавшейся, как грипп, сначала его жене, а потом и всему персоналу. Не знаю, в чем там было дело, однако ходили слухи, будто сразу после моей операции майор Л. Вакенад официально предупредил весь персонал насчет меня: с этим, мол, сержантиком повнимательнее. Что там я мог вытворить на операционном столе, совершенно не

представляю. Наверное, что-то и впрямь нехорошее, раз повелось такое отношение. И хорошо, что не помню. Вот бы и впредь не вспоминать ничего такого... Правда, было в памяти одно воспоминание, неуловимое, но болезненное, как заноза: далекий пористый потолок, сплясавшая лампа справа, чье-то приглушенное объяснение, как лучше надрезать, и мой голос — сонный, влажный, пришибленный наркозом: «Отрежете руку — сожгу вас в этом же здании». Мог я такое ляпнуть? Думаю, нет. Но дело в том, что это я сейчас так думаю...

— Чешется? — спросила сестра Зоя.

— Нет, — ответил я.

— Плохо. Надо, чтобы чесалась.

— Могу почесать, чтобы зачесалась.

— Лучше поработай пальцами, — сказала сестра Зоя. — Труд — первейшее лекарство. Именно он сделал из обезьяны человека.

— Ага, потом увлекся и переделал обратно.

Глянув на часы, сестра Зоя неторопливо затянулась, прикрывая от удовольствия глаза.

— И все же, почему ты не работаешь? — спросила она. — Даже постель не застилаешь.

— Трудно.

— Тебе трудно застелись постель?

Вместо ответа я потряс перебинтованной кистью, со стороны похожей на надутую резиновую перчатку. Сестра Зоя отмахнулась.

— Ничего страшного. Нужно просто не лениться.

— Ты пробовала застилать постель одной рукой? — спросил я недовольно.

— Не «ты», а «вы», молодой человек, — поправила она.

— Постель я застилать не буду, — заявил я неожиданно запальчиво. — И вотнички подшивать тоже. Я не левша и не могу работать одной рукой.

— Можешь попросить товарищей.

— Я б попросил. Но, слышал, гауптвахта у вас сырая, совсем не для моего здоровья.

Сестра Зоя ухмыльнулась.

— Неженка, — сказала она почти ласково. — А каким был? В проем еле вмещался, кровати двигал. Мы думали поле на тебе вспахать.

— Я и сейчас в форме, — сказал я и подмигнул.

Сестра Зоя сразу посерьезнела и рефлекторно сжала ноги. Я не отводил от нее нагловатого взгляда. Конечно, я был слишком молод для нее, но временами это забывалось. Не докурив, она выкинула сигарету в бетонную урну, поднялась и, не говоря ни слова, взбежала на крыльцо хирургического отделения, только дверь хлопнула. Я так и не понял, обиделась она или сделала вид, что обиделась.

Через несколько минут раздался звонок на завтрак, и из здания немедля повалил народ, на ходу стреляя друг у друга сигареты, выпрашивая зажигалки, договариваясь покурить вместе и зарекаясь поделиться в следующий раз.

Дворик наполнился говором, руготней и дымом, лавки прогнулись под тяжестью исколотых антибиотиками задниц, а асфальт в две минуты покрылся мерзкими мутными плевками. Мне были противны эти бледнокожие, мандражные солдатики, бежавшие сюда от тягот службы и получившие здесь некое подобие воли. Их самостоятельность была хрупкой, уверенность — анемичной, а озлобленность — жалкой, как будто выдернули из стада всех вожakov и заводил, а вместо них оставили распорядиться самых сильных слабаков.

Я встал и прошелся, чтобы размять ноги, и ко мне сейчас же подошел Павел. Я намеренно не относил его к «сильнейшим из слабейших», однако с каждым

днем нравился он мне все меньше. Не знаю, в чем было дело, но подсознательно я думал, что причина в его подозрительном диагнозе — «пониженное артериальное давление». И это в хирургическом отделении, среди пулевых ранений, ампутаций, аппендицитов, геморроев и флегмон...

— Седня я к нему пойду, — сообщил он мне доверительным шепотом. — А если че — меня прикроют.

Я нахмурился. Как всегда, если меня трогали, когда я этого не хотел, на меня накатывало раздражение. Я спросил, что он там бормочет и нельзя ли погромче.

— К Марцеллу, к Марцеллу я иду! — пояснил Павел взволнованно. — Седня понимаешь?

Ага, подумал я. К Марцеллу... Ходила у нас такая легенда. Будто лежит в травматологическом некий Марцелл, знахарь, целитель и костоправ в одном лице. Никто его, естественно, не видел, но это не является доказательством его несуществования. Парни, лежащие в «травме», на вопрос, знают ли они Марцелла, многозначительно молчат или же многозначительно жмут плечами.

У отдельных персонажей романтического склада ума это вызывает ненужные ассоциации, а иногда и совершенно неприличные надежды с безумным блеском в глазах и невнятным щебетанием об избавлении. Я не сужу этих бедняг, кому-то, наверное, и в самом деле хуже, чем мне, однако видится мне во всем этом нечто позорное и недостойное мужчины. Вроде гонореи накануне свадьбы.

— Сдался мне твой Марцелл, — буркнул я и добавил: — Как триппер пионерке.

— Да лечит он, лечит! — воскликнул Павел и отчаянно затеребил мой рукав. — Мне Веселый рассказал! Он со мной в одной части куковал. Три дня назад привезли с выбитой коленной чашечкой. А теперь — ходит, да так, что врачи не верят. Спрашиваю: кто? Марцелл, грит. Покаж, грю. И показал! Теперь я знаю его в лицо!

Павел был не на шутку взволнован. Его, как наркомана, била мелкая дрожь, глаза влажно блестя, а болезненная худоба добавляла в этот образ долю сумасшедшинки.

— Слушай, — сказал я, осторожно отстраняясь. — Не принимай все так близко к сердцу. Я психов того... опасуюсь.

— Гос-споди! — воскликнул Павел. — Ну почему в друзьях у меня одни болваны!

— Ты это... полегче, — сказал я строго. — На себя позырь.

Павел кисло сморщился и стал похож на битую дворнягу.

— Да не могу я, понимаешь? — сказал он жалобно. — Спать не могу, учиться не могу, думать не могу. Уже пять лет как проклятый. А тут еще армия, мать ее так. Башка по швам трещит, будто ее тисками сдавливают.

— Будем надеяться, не сдавят, — отозвался я и попытался отойти в сторонку, но Павел не отставал.

— Марцелл и тебя вылечит, если попросишь, — сказал он деловито. — А можешь меня попросить — я за тебя слово скажу.

— Лучше вон за Быкова попроси, — посоветовал я. — Или за Юма.

— За Юма я и так попрошу, — отмахнулся Павел. — Но ты...

— Что — я?

— Почему не хочешь?

Я посмотрел на свою кисть, похожую на надутую резиновую перчатку, и заявил:

— А мне и так нравится.

Павел в сердцах сплюнул.

— Слушай, — сказал я. — Что ты прилип ко мне с этим Марцеллом? Мало мне головняка? Или своего языка нет? — И вдруг меня осенило. — А-а, понял! Тебе одному идти страшно.

Павел сейчас же сморщился, отвернулся и буркнул:

— Вот еще!

Значит, угадал. Я был очень доволен собой, а в особенности — своей сообразительностью. Криво улыбаясь, я спросил:

— Зачем вообще все это затеваешь, если страшно?

Павел слабо отмахнулся.

— Мне не это страшно.

— А что?

— Его телохранители.

— Телохранители?

— Да. У него телохранители. Никого к нему не подпускают.

Я почесал в затылке. Умгу. Еще одна глава в легенду о целителе Марцелле. Телохранители. Большие, хмурые и тупые. Два драбанта и один кавалергард. Наверняка целитель Марцелл вылечил их от смертельных ран, и они на крови поклялись охранять его покой.

— И что ты от меня хочешь? — спросил я.

— Сходишь со мной.

— И пока я буду отбиваться от телохранителей, Марцелл вылечит тебя от твоего давления?

Павел поспешно закивал, потом, подумав, отрицательно помотал головой. Он был взвинчен до предела. Я молчал, и поэтому он решил, что я почти согласился.

— Я и за тебя попрошу, — заверил он лихорадочно. — И за Юма. За вас обоих.

— А что не за всех? — иронически поинтересовался я.

Павел раскрыл было рот, чтобы ответить, но я его перебил:

— Нет, не пойду. Я и без того на заметке. Да и тебе не советую. Посадят в подвальныйчик, что за баней — и баста. А за Марцелла забудь. Чуть все это.

Павел упрашивал меня минут пять, потом обиделся, отстал и больше не подходил, и даже не взял сигарету, когда ему по дружбе предложили разок затянуться.

На крыльцо вышла сестра Зоя и спросила, уходили ли на завтрак с венерологического. Солдатики, на ходу кидая окурки в урны, в один голос заорали: «Уходили, уходили!» Тогда сестра Зоя посмотрела на меня и сказала, чтобы я вел людей в столовую. Мне это не понравилось: ответственности за свою службу я хлебнул достаточно. Я поинтересовался, где старшина. Сестра Зоя ответила в том смысле, что старшине нездоровится, а солдатики пояснили: «Понос у него!» Это ничего не объясняло, так как на завтраке, помимо старшины, должна была присутствовать одна из сестер. Я поинтересовался и на этот счет. Сестра Зоя заявила, что ей надо отлучиться и ни на кого, кроме меня, она положиться не может. Солдатики стали меня упрашивать (поутру они всегда были зверски голодны), но я намеренно упрявился, стараясь приучить всех, и сестру Зою в частности, к мысли, что ответственности совершенно не терплю, несмотря на сержантские лычки и прочие аксессуары военной пригодности.

Когда определенный результат в этом деле был достигнут и сестра Зоя вот-вот должна была махнуть рукой и сама повести строй в столовую, я сдался. Набрал в грудь воздуха, рывкнул: «Стройся!» Солдатики уже построились, и мой рык лишь привел их в некое подобие готовности. Потом я приказал: «Равняйся! Смирно!», отпустил пару затрепанных двум тонкошеим болтунам, рывкнул: «Марш!» — и два десятка бледных, обросших от отсутствия дисциплины солдатиков, блестя мозолистыми пятками в резиновых тапочках, зашаркали вниз по темной аллее.

И стало мне так хорошо, и легко, и свежо, будто признались мне в любви сразу несколько девиц, а я прошел мимо и сделал вид, что ни одной из них не заметил... Все же хорошая эта штука — нужность. Вот веду я двадцать солдатиков

в столовую, и если не приведу, хрен их кто запустит, и останутся они голодными, злыми и отчаявшимися, а может, даже сляжет кто в порыве безысходности, прямо на крыльечке столовой. Это, конечно, не мой первый минометный с безнадежно неисправными минометами, и уж точно не ночная смена в секрете, но что-то родственное все же есть.

У столовой была давка. Парни с венерологического еще не заходили, потому что столовая и без них была переполнена. Я остановил своих недалеко от крыльца и шепотом, через плечо предупредил всех и каждого, чтобы сейчас же замолчали. Были на то веские причины.

На крыльце, скрестив руки на груди, стояла Роза, толстая немолодая повариха в белом сальном халате, туго обтягивающем ее крупные овальные формы, и пыталась никого без очереди не пустить. Впрочем, никто и не рвался, так как около нее, грузно подперев перила, расположился замначальника госпиталя полковник Македов, в миру — Македонский. Рядом с ним, как бы в довесок, но ступенькой ниже, стоял спаситель мой — майор Л. Вакенад.

Оба товарища офицера были, что называется, в подпитии.

Македонский обводил голодный строй парней из венерологического и мой, из хирургического, мутным взглядом, бесшумно икал и, казалось, пытался собраться с мыслями, чтобы сообщить нам что-то важное. Взгляд Л. Вакенада был немногим осмысленнее, и видно было, что он готов при необходимости заткнуть товарища полковника, если тому, не дай бог, вздумается выдавать какую-нибудь военную тайну.

— Э-э, товарищ майор, — сказал наконец Македонский.

— Да, товарищ полковник, — отозвался Л. Вакенад.

— А почему это солдаты не поют, когда идут в строю?

— Некоторым из них противопоказано петь, товарищ полковник.

— О как! — удивился Македонский. — А те, кому не противопоказано, почему не поют?

— Таких мало, товарищ полковник, — сказал Л. Вакенад. — Песня получится слабой. К тому же они учили разные песни.

— О как, — повторил Македонский и вдруг остановил взгляд на мне. Я замер и вытянулся. — Ты — ко мне! — сказал он коротко.

Проклиная ту минуту, когда согласился вести строй, я почтено приблизился к товарищу полковнику, хотел было отдать воинское приветствие, но вспомнил, что головного убора не имею, поэтому просто вытянулся по струнке, рявкнул свое звание, а также цель прибытия к столовой и замер, на все готовый.

Казалось, товарищ полковник удивился, по крайней мере, ожидал он чего-то другого.

— Что с рукой, боец? — спросил он по-отечески участливо.

— Флегмона, товарищ полковник! — выпалил я.

Македонский тупо нахмурился.

— Э-это что такое?

— Гнойное воспаление клетчатки, — пояснил майор Л. Вакенад. Он был чем-то крайне недоволен. — Еле-еле спасли парню руку. Потихоньку идет на поправку.

— О как, — бросил Македонский. — В зуб, значит, кому-то заехал?

— Никак нет! — отвечивал я.

Македонский не поверил — заулыбался хитро и понимающе. Я не удержался — тоже начал скалиться. Такая версия мне даже нравилась, по крайней мере, она была лучше случайного пореза на полигоне и обыкновенного заражения какой-то дрянью.

Тут из столовой начали выходить ковыряющиеся в зубах солдатики из неизвестного мне отделения, и Македонскому пришлось спуститься с крыльца, освобождая им дорогу. Л. Вакенад незаметно показал мне на строй: убирайся, мол, от греха подальше, и я, мысленно смахивая пот со лба, подчинился. Что-что, а разговоры с начальством никогда не любил.

Тем временем позавтракавшие, завидев товарища полковника, стали строиться с неестественной поспешностью. Сестра, следившая за ними, сконфуженно поторапливала отстающих. Македонский неподвижно стоял у крыльца и глядел на весь этот спектакль с ленивым офицерским достоинством.

Вдруг Павел дернул меня за рукав и нервно зашептал: «Вон он, тот с краю, третий, видишь?» Я как-то сразу понял, кто имеется в виду. Это строились парни с травматологического, переломами, как их еще называли, а показывал мне Павел Марцелла, знахаря, целителя и прочее.

Марцеллом оказался восемнадцатилетний паренек, веснушчатый, тонкий, с болезненно белой лысиной и гусиной шеей, с острым кадыком и оттопыренными, почти прозрачными ушами, совсем не солдатик и даже не паренек — шкет, хрупкий, безобидный и невинный. На нем не было ни бинтов, ни гипса, ни жгутов, и казалось, находится он здесь по причине своей безобидности и хрупкости. Возможно, так оно и было. Есть же в медицинской терминологии что-то вроде врожденного недовеса? Но я почему-то сразу решил, что под рубахой у него обвязанное бинтами в несколько слоев хрупкое белое туловище, покрытое серыми гематомами, и даже не туловище — тельце, с торчащими ребрами и кривыми ключицами, с животом, прилипшим к позвоночнику, и что били его нещадно по этому животу, и по ключицам, и по ребрам, и отбили там все, что можно, и все, что нельзя, и возможно, нет у него больше селезенки, а может, и чего поважнее.

— Марцелл... — пробормотал я, стараясь не смотреть на ошалелого Павла. Тот без остановки дергал меня на рукав и все повторял: «Он, он, он, видишь?»

Тут заговорил Македонский.

— Вы все сопляки! — объявил он нам. — Вам очень повезло, что, кроме радикально настроенных местных, нет у вас никакого реального противника. Иначе опозорились бы на всю страну. Профессионалы, говорите, должны заниматься военным делом? Но ведь раньше все были профессионалами. И любой почитал за честь служить своей стране. А вы — позор своих родителей.

— Товарищ полковник, — сказала Роза. — Вам уже накрыли.

Македонский пьяно отмахнулся.

— Товарищ майор, — обратился он к Вакенаду. — Вы голодны? Нет? Вот и я что-то передумал. Скажите тогда товарищу... ум-м... поварихе, чтоб не перебивала... О чем это я? А! О сопляках. Так вот. Был в девятнадцатом веке ротмистр при боевых действиях. Бой, значит. Фронтальная атака. Ротмистр — что сейчас ротный — наблюдает за ходом сражения. Первый эшелон в бою. Резервы стоят. Почему? Потому что, если они полезут в бой, ротмистр уничтожит и врагов и резерв. Так вот. Капитан взвода резерва подбегает к ротмистру и кричит: «Вот, господин ротмистр, наших на правом фланге бьют, пошлите меня туда, я им навалю!» «Нет, — говорит ротмистр. — Вернуться в строй». Не отпускает. — Македонский помедлил и вдруг заорал: — Так этот капитан пошел и застрелился под предлогом, что ротмистр ему не доверяет!.. Вы понимаете, до чего было развито это... это самое...

— Патриотическое самосознание! — подсказали из строя переломышей. Я не сразу понял, что подсказывал Марцелл.

— Да-а! — взревел Македонский. — И мы видим полный упадок этих чертовых норм! Нужна, ребятки мои, хор-рошая новая война, чтобы смахнуть пыль с мозгов.

Он внезапно замолк, оглядел нас, притихших и состроивших деловитые рожи, потом с горечью махнул рукой и, подхватив под локоть майора Л. Вакенана, двинулся прочь. Вскоре оба офицера исчезли за углом барака.

— Посмотрел бы я, как он с геморроем повоюет, — буркнул из глубины строя геморройный долгомученик Быков.

Это вызвало взрыв хохота. Я не удержался — тоже засмеялся, однако быстро прекратил и заставил успокоиться остальных. Не хватало еще, чтобы товарищи офицеры нас слышали.

— Так, — сказала Роза. — Не толпимся, заходим по одному.

В 10.00, через час после завтрака, у нас начиналась ежедневная перевязка. Я ненавижу эту процедуру, потому что было чертовски больно, а временами — невыносимо. Порой я ловил себя на мысли, что хожу в перевязочную сам и никто меня не заставляет туда ходить. Добровольность сего поступка должна была бы снизить степень моих мучений, но этого почему-то не происходило. Наверное, потому, что мучения начинались сразу, как только я оказывался за дверью с табличкой «ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ».

А было так: я снимал тапочки, старшая сестра (которую я называл про себя «доктор Менгеле») снимала бинты, сдирала прилипшую вату, и я тут же покрывался холодным потом — кисти своей я не узнавал, это была не моя кисть, это даже кистью не являлось — опухший желто-багровый шарик с пятью торчащими в разные стороны сосисками-пальцами, скальпельные надрезы, похожие на сонные азиатские глазки, а вместо белков и зрачков — человеческое мясо, один, два, три, четыре надреза на тыльной стороне кисти и один — на ладони, между большим и указательным пальцами, и из каждого надреза торчит хвостик жгута, по которому по идее должно за ночь выходить определенное количество гноя, засевшего под кожей. Но в действительности, конечно, не выходит, и доктору Менгеле приходится выдавливать, выжимать, выгонять гной собственноручно. Я отворачиваюсь и до крови кусаю губы, это еще можно стерпеть, главное — вовремя подавить приступ тошноты, но потом доктор Менгеле берет в руки шприц без иглы — набирает в него какой-то желтой дряни и начинает впрыскивать ее в один, во второй, в третий, в четвертый, в пятый сонный азиатский глазик. Да так, что желтая дрянь бьет фонтанчиком из соседнего надреза, они у меня там сообщающиеся, эти надрезы. Потом желтая дрянь заканчивается, и доктор Менгеле набирает прозрачной дряни, это самое неприятное, что-то вроде спирта или жидкой соли, мир сужается до размеров одной маленькой клетки, которую жгут паяльной лампой, я начинаю тихо выть, а иногда — кричать. Руку сводит судорогой, но я не шевелю ею, потому что доктору Менгеле я не нравлюсь, сколько бы ласковых слов она ни говорила, она в любой момент может позвать майора Л. Вакенана или его зама, и тогда процедура повторится заново, такое уже бывало. И вот, когда я уже ничего перед собой не вижу, а только чувствую, процедура вдруг заканчивается. Доктор Менгеле, ласково улыбаясь одними глазами, обмазывает мою кисть зеленкой, которую я не чувствую, кладет на раны кусок бинта, смазанный какой-то пахучей мазью, поверх — влажный комок ваты, обматывает все новыми бинтами и говорит свою коронную фразу: «До свадьбы заживет!» Ага, думаю, заживет.

Я выхожу из перевязочной, согбенный, опьяненный пережитым ужасом, за дверью меня встречают солдатики, ждущие своей очереди, и смотрят на меня со странным выражением: помесь жалости и уважения. Я молчу и медленно прохожу мимо них и мимо соседнего кабинета, где сидит сестра Зоя, которая тоже все слышала и уже знает, что сейчас я войду и попрошу вколоть обезболивающее, но я прохожу мимо, потому что обезболивающее дарует спасение лишь на час,

потом рука начинает мстить как обманутая жена. Я этого не хочу, поэтому иду дальше, никого вокруг не видя, прижав руку к животу, и глаза у меня наполняются слезами, потому что я жалею себя, и вскоре добредая до своей палаты, падаю на кровать, и после того, как до отвращения знакомый запах подушки проникает в ноздри, я просыпаюсь, потому что это единственное спасение — считать пережитое сном...

Не знаю, как другие, но я после перевязки не мог прийти в себя часов двенадцать, а когда поздно вечером это наконец происходило, звучал отбой, и нужно было укладываться спать. Наверное, поэтому я рано вставал и долго сидел под дикой яблоней, считая ворон, а потом всевозможно отдалял поход в кабинет к доктору Менгеле.

Первое время надо мной шутили в том смысле, что товарищ наш сержант перед смертью не надышится, и я, справедливо оскорбляясь, приучил себя ходить в перевязочную чуть ли не первым. Было очень досадно, но долю морального утешения я получал. Вдобавок болтунов это затыкало. А день без колких шпилек тек несравненно быстрее.

Но, несмотря на все ухищрения, день мой, как и раньше, делился по гнусному несправедливому принципу: до перевязки и после. До перевязки я чувствовал себя здоровым, после перевязки — меня переубеждали в обратном. А наутро все повторялось.

Стараясь хоть как-то отвлечься, я приседал или сдвигал кровати, чтобы сделать брусья. Но упражнения на брусьях давались с трудом (всего три-четыре подъема за раз), и брусья я вскоре забросил.

А чуть позже я приохотился читать. Первую книгу дала мне сестра Зоя. Это был Майн Рид, что-то о некоем Роланде Стоуне, но я засыпал над ним и поэтому вскоре обменял на «Анну Каренину» — дряхлую толстенную книженцию. Помню, я очень обрадовался, что наконец прочту что-то полезное и родное.

Но радость быстро прошла, так как Толстой никак не сочетался с тяжестью в голове, болью в руке и тягостным ожиданием следующей перевязки. Мысли мои путались, строились бутербродом в три яруса, перекрывая одна другую, и вот я уже не читал, а бессмысленно смотрел на строчки и представлял себе шприц доктора Менгеле.

К тому же в книге не хватало многих страниц, и можно было только догадываться, что случилось, когда Вронский впервые увидел Каренину или о чем беседовал Левин со Свяжским.

Я знал, кто вырывает страницы и с какой целью, но долго молчал. Потом, когда в очередной раз пришлось безуспешно додумывать то, что написал Лев Николаевич, я, к удивлению своему, вскипел, с отвращением захлопнул книгу и заорал на всю палату: «Вырывайте до закладки, а не после!» И еще кое-что прибавил. Естественно, никто не ответил, только Юм рассмеялся, слабо и тихо. Кражи страниц ненадолго прекратились, но вскоре возобновились и в один прекрасный день ударили с удвоенной силой, так как по госпиталю после особо вкусной гречки прошла волна мощнейшего поноса. Ненавижу Толстого.

Впрочем, чтение не помогало. Оно отвлекало, конечно, но служило скорее оправданием тишины, когда не о чем было поговорить с людьми, лежащими рядом.

Нас было шесть человек в палате: я, Павел, старшина Ринат со спицей в ключице, некий тип по фамилии Скрылев с зараженной пяткой, Быков с пачкой свечей от геморроя и бедняга Юм с больными почками.

Благодаря этим людям я многое узнал о современной медицине и о том, что человеку вообще свойственно болеть. Раньше это всегда почему-то проходило мимо меня. Теперь я знал, что в случае геморроя мне поможет анестезол, в случае

с большими почками — цистон, в случае гипотонии — пантокрин, а если заболит кишечник — цитрат бетаина.

Еще я узнал, что такое анемия и бронхиальная астма, грибковые поражения и эпилептические припадки. И все это было у восемнадцатилетних парней, моих ровесников, у которых вся жизнь была впереди, и неизвестно, как они собирались ее прожить. Мало того, почти все они гордились своими болезнями, как орденами, и даже вели негласные соревнования: кому хуже.

Хуже, конечно, было Юму. Юм был у нас старослужащий, и служба его, видимо, не щадила. Он был большой — больше меня и больше старшины, — но вот взгляд голодный взглзавленной лисички, выдавал в нем человека сломленного.

Он почти не поднимался с постели, и еду ему приносили на синем, скользком от жира подносе. И каждый раз, когда он не соблюдал норму потребляемого, почки устраивали ему небольшой блицкриг.

Странно было лежать на спине после отбоя, смотреть в темный потолок и слышать его короткие нервныы стоны, прорывающиеся с частотой в тридцать-сорок секунд. Никто не спал, пока капельница, висящая над ним, словно образ, не опустошалась и дежурная сестра не уносила ее — после Юм на несколько часов замолкал, а когда почки снова начинали болеть, мы уже дрыхли без задних ног. Его недолюбливали, но в то же время боялись, что когда-нибудь можно оказаться на его месте.

Я лежал на боку, прижав ноющую руку к груди, и смотрел на спящего Юма. Ему снова поставили капельницу. Лицо его было недвижимое и немного мертвое, и я думал: что бы я сделал, если бы он вдруг перестал дышать.

— Юм, — позвал я громко. — Ты жив?

— Смешно, — отозвался он одними губами. Глаз он не открывал. — Где все?

— На перевязке.

— А ты?

— А я — здесь.

— Слышал, как ты орал, — сказал он. — Действительно так больно?

— Не, притворяюсь.

Юм улыбнулся:

— Так и думал.

Юмор у него был скверный, зато чувство юмора зашкаливало. Однажды спросили у Павла в шутку: «Кто лгает под водой на глубине в тысячу метров?» — так вот Юм оказался единственным, кто хохотал искренне.

— Только ты орешь на перевязке, — сообщил он. — Зойка жаловалась, что у нее сердце кровью обливается.

Я фальшиво хохотнул.

— А она не жаловалась, что именно в ее дежурство у тебя почки стреляют?

— Главное, чтоб вы не жаловались.

— О нас не думай.

— А о ком думать? О себе?

— Можно и о себе, раз ты такой извращенец.

Юм закашлялся, и я не сразу понял, что это он смеется.

— Я те припомню, — пообещал он.

— Запиши, а то забудешь, — посоветовал я, осторожно переворачиваясь на спину. Было очень хорошо смотреть в потолок и болтать ни о чем. Это отвлекало. — А знаешь, чья жена наша Зойка? — спросил я.

— Это не запрещает ей сочувствовать, — отозвался Юм.

— Себе бы посочувствовал.

— Мне хватает чужого сочувствия. Так уж я устроен и так уж вы устроены: то, что дается даром, — надоедает; то, что дается даром и отталкивается, — преподносится снова.

Я немного обалдел.

— Да ты, смотрю, с мозгами. Или в кроссворде вычитал?

— Самое бесполезное занятие — ваш кроссворд, — сказал Юм. — Самое бесполезное из всех полезных. Что до мозгов, то это такая же мышца, как и бицепс.

— Однако, — проговорил я. Это было что-то новое. — А что думаешь насчет небольшой интрижки с сестрой Зоей?

Юм открыл глаза и зашевелился.

— Чего?

— Эт я шучу, — сказал я весело. — Скажи лучше, что думаешь по поводу напругов в нашем регионе.

— А в нашем регионе есть напруги? — удивился Юм. — По-моему, руку ты себе сам погрыз.

— Это — да, но все же.

— Все же... — Он помедлил. — Трепотня. Солдатское радио.

— А то, что неделю назад пытались утащить двух солдатиков? — напомнил я.

— Сказка, — бросил Юм уверенно. — Слово о полку Игорева. Зачем — вопрос другой.

— Подожди, — сказал я нетерпеливо. Мне стало интересно. Я перевернулся обратно на бок. — Вот стоят два солдатика на кэ-пэ-пэ. Вот подошли к ним десять местных — заболтали, схватили и потащили. Один вырвался, поднял тревогу. Другой вырваться не смог, и его до смерти искололи собственным ножом. Где тут сказка?

— Сначала нужно понять, кому она нужна и для чего? — проговорил Юм медленно.

— Ну?

— Что — ну? Каким ослом ты будешь, если признаешься командованию, что солдатики твои, к примеру, подрались между собой из-за сигаретки?

— Что-то непонятно, — пробормотал я. — Как подрались? А местные?

— А местных не было. Местных потом нарисовали. Чтоб было на кого спихнуть гнев матерей.

Я помолчал. Признаюсь, эта история обернулась для меня в совсем другом свете. Она с самого начала мне не нравилась, но совершенно по другой причине. Мороз пробегал по коже, как представишь, что тебя с товарищем тащат куда-то, товарищ вырывается, а ты — нет... К тому же видел я этого «товарища», приводили разок в перевязочную — долговязый такой, светлый, и порез под глазом... Значит, сигаретку не поделили...

— А что думаешь о терактах? — спросил я.

— О, а вот и Быков, — сказал Юм. — Пусть лучше он скажет.

Вошел Быков, прихрамывая, проследовал до своей койки под окном, улегся на живот и спросил:

— О чем я должен говорить?

— О терактах, — сказал я. — Что думаешь о терактах?

Быков поморщился.

— Я о них не думаю. Мне и без них хреново. До меня вон посылка никак не дойдет, а на носу — день рождения.

— И чирей, — добавил Юм.

— И чирей, — грустно согласился Быков, трогая нос. — Давайте лучше поговорим о наркозе, — предложил он.

— Зачем? — спросил я.

— Вот Скрылев не верит, что после наркоза песни распевал.

— Как это не верит? Я лично заказывал репертуар. Разве нет, Юм?

— Меня еще не было, — отозвался Юм.

— А вот я был, — сказал Быков. — И лично слышал, как он пел: «Моя ладонь превратилась в кулак!», а ты, — сказал он мне, — со слезами на глазах тряс пухлой ручкой и кричал: «Эт про меня, эт про меня!»

— Балабол, — буркнул я.

— Почему — балабол? Разве не кричал?

— Кричать-то кричал, но не плакал.

— Может, и не плакал, — легко согласился Быков. — А может, и плакал... Я бы плакал.

Вошел Ринат, за ним, прыгая на одной ноге, Скрылев. От обоих смачно несло сигаретным дымом. Старшина по обыкновению молча улегся на кровать и отгородился от мира кроссвордом. Скрылев ложиться не стал — допрыгал до стола, уселся и положил перебинтованную, вымазанную в зеленке ногу на пустующую кровать возле Юма.

— Явился не запылится, — бросил Быков. — А почему с ногой?

Скрылев не обратил внимания.

— Вот же сволочи эти сестры, — сказал он простуженным басом. — Говорю им: не зажило, режьте еще раз, а они — антибиотиками кормят!

— Задолбал ты их, — сказал Быков. — И нас тоже. Только и слышим: медик-медик, медик-медик. Какой ты, к черту, медик?

— Какой есть, такой и медик, — враждебно отозвался Скрылев. — Не виноват же я, что недоучился.

— Не виноват ты, что на свет родился, — сказал Быков. — Вот подкинула бы тебя акушерка да не поймала.

— Меня — ловили, — заверил Скрылев. — А тебя, как видно, роняли.

— Меня? — зарычал Быков.

— Сама матушка земля принимала! А папаня подымал и снова о землю!

Я захохотал. Юм тоже. Рината за газетой видно не было, но газета характерно затряслась.

— Ты лучше у народа спроси, — неистовствовал Быков, — пел ты или не пел после наркоза? А, медик?

— Медики не поют! — заявил Скрылев с достоинством. — Вот скажи, Юм, пел я или не пел?

— Не знаю, — отозвался Юм. — Меня еще не было.

— Не было его! — подтвердил Быков. — А ты — пел!

— Не пел.

— Нет, пел!

— Нет, не пел!

Эта парочка друг друга ненавидела. Скрылев ненавидел Быкова, Быков — Скрылева. Однако странным образом это не мешало им всегда быть вместе. Почему-то.

— Пел, пел, — заверил я. — И про верную невесту, и про запах сирени, и даже «Боже, царя храни».

— Ты б вообще молчал, — сказал Скрылев, отмахиваясь. Мое заявление задело его за живое. — Про себя небось не вспоминаешь. А мне рассказывали. И как сестер на операции пугал, и как тебя несли, и как ты целый час чесал про свою любимую.

Я нахмурился.

— Какую еще любимую?

— Парни, — сказал Скрылев весело, — как звали его любимую?

— Надя! — ответили ему хором и заржали.

Мне стало неловко. Я, честно, не помнил, что делал после операции, а то, что я мог рассказать кому-нибудь про Надю, было вообще непредставимо. Да и подло... Моя Надя была далеко, очень далеко, а три месяца назад эта шалава вообще перестала быть МОЕЙ Надей. Воспоминание было вдвойне обидней оттого, что солдатиков этих обида моя нисколько не задевала, и поэтому можно было допустить, что и мне не так уж тошнотно.

Я поднялся. Скрылев понял, что болтнул лишнего, и смех его оборвался. Остальные тоже заткнулись. Меня здесь знали. И я себя знал. И Ринат, старшина небитый, помнил, как пытался заставить меня подметать. Что ж, можно не повторяться. Однако сказать что-то надо. Обязательно. Иначе облаглют... На языке уже вертелась какая-то грубость, когда в палату вошел Павел.

Павел был побит. Павел был жалок и печален. Левая сторона лица у него потемнела и вспухла, а из носа к подбородку тянулась подсохшая уже юшка. Рукав рубашки висел на нитках, острое голое плечико торчало из рваной дыры, как детская коленка, ободранная об асфальт. Павла, несомненно, кидали на этот асфальт и били ногами, потом волокли и снова били, а он только мычал, потому что кричать ему не позволяли... Он был похож на щенка, которого сунули в мешок и кинули в реку, а потом передумали и выловили метров через пятьдесят вниз по течению. Худой, мокрый, никудышный щеночек.

— Кто это тебя? — спросил я.

Павел не ответил. Понуро сгорбившись, он прошаркал мимо к своей кровати. Я вспыхнул, догнал его и с силой развернул лицом к себе. Павел ойкнул, попытался вырваться, но я был намного сильнее. Схватив поудобней, я хорошенько встряхнул его и раздраженно рывкнул:

— Говори!

Павел молчал. Я понял, что здесь он ничего не скажет. Он был неженкой и мямлей, обида была для него таким же чувством высокого наслаждения, как для ветерана участие в параде Победы; при желании он мог даже гордиться, что обидели именно его. Ладно, подумал я и, крепко схватив его за локоть, потащил к выходу. Павел еле ощутимо запротестовал.

— Ты куда? — спросил старшина. Он опустил газету и смотрел на меня вопросительно. (Вообще все смотрели на меня вопросительно.)

— Сиди здесь, — бросил я не глядя. — Спросит кто — вы ничего не видели.

И мы вышли. Коридор был пуст, лишь в дальнем его конце, у перевязочной, стояли две сестры и о чем-то тихо беседовали. На нас они не обратили внимания, так как буквально через пять шагов я завернул в уборную и рывком втянул туда Павла. Закрыв дверь, я подпер ее бочкой с водой, повернулся и так встряхнул этого мокрого битого щеночка с ободранной шкуркой, что он клацнул зубами. Он зачем-то попытался закрыть лицо руками, но я не позволил. Я был зол и хотел, чтобы он смотрел на меня.

— Говори! — скомандовал я.

Павлу вздумалось расплакаться, и я встряхнул его снова. Нужно было спешить. Павел был не настолько умен, чтобы остаться незамеченным. Я был почти уверен, что вот-вот кто-то кому-то донесет, кто-то на кого-то наорет, а потом кто-то кого-то пришлет за Павлом, и поговорить с ним удастся не скоро, а если и удастся, то слушать придется очередную байку, наподобие той, которую я обсуждал с Юмом.

Павел совсем недолго играл в молчанку, так как от природы не умел молчать. Он сказал: «Я был у Марцелла», — и я все понял. Далее нетрудно было догадаться, что там за Марцелл, и какой темперамент у этого Марцелла, и как этот Марцелл относится к гостям. Но Павел на этом не остановился. Его вдруг прорвало, и, запинаясь, он принялся подробно рассказывать, как наскоро он отметился в пере-

вязочной и двинулся через полгоспитала в травматологическое отделение, и как его там остановила сестра, и как он минут десять забивал ей баки, и как потом поднялся на нужный этаж и отыскал палату Марцелла, но Марцелла там, конечно, не оказалось, а была только парочка хмурых улыбчивых телохранителей...

Я почти не слушал. Мне даже стало неинтересно. Я глядел на белую кафельную стену поверх головы Павла, где неизвестные умельцы вывели: «НИЧЕГО ХОРОШЕГО ИЗ ТЕБЯ НЕ ВЫЙДЕТ». Фраза приобретала особое значение в стенах туалета и временами очень раздражала, особенно уборщицу, которой никак не удавалось эту надпись стереть, потому что умельцы не поленились — выцарапали ее для верности гвоздем.

Павел не замолкал и уже не рассказывал, а жаловался, как алкоголик на отсутствие денег. А у меня вдруг заболела рука. Или я просто наконец обратил на нее внимание. Оборвав его на полуслове, я спросил:

— Какой этаж?

До «травмы» я добрался без проблем. Это было длинное серое здание в четыре этажа с просторным мраморным крыльцом на торце и тремя запасными выходами, заваленными всяким хламом.

Было начало первого, и госпиталь пребывал в состоянии легкого утомления, поэтому все, не исключая сестер и врачей-офицеров, прятались по кабинетам и палатам от душного полуденного зноя, сосали минералку из полулитровых бутылочек, читали утреннюю газету либо тихонько дремали, заперев двери на ключ.

В приемной у переломышей толпилась небольшая очередь, и так как глаза у всех были подозрительно суетливы, я понял, что солдатикам выдают зарплату. Но это были не переломыши, а какие-то периферийные, лежащие тут же, то ли астматики, то ли диабетики.

Я бесцеремонно растолкал и тех и других, прошел мимо кабинета с табличкой «РЕНТГЕНОСКОПИЯ», где в самом начале мою руку просвечивали на предмет переломов, и мимо двери с табличкой «СДАЧА АНАЛИЗОВ», куда сестры посылали самых безропотных и кротких, и немедля свернул на лестничную площадку, наполювину перегороженную решеткой.

Вид у меня, наверно, был решительный, так как неизвестный офицер в белом халате, встретившийся на площадке второго этажа, даже не посмотрел в мою сторону, когда я пронесся мимо. Я благополучно добрался до третьего этажа и немедля застучал в запертую дверь с большими мутно-серыми окнами и броской табличкой: «ТРАВМАТОЛОГИЯ».

Меня тут же спросили: «Кто?», я ответил: «Свои», и мне открыли. Протиснувшись в проем, я, не глядя на открывшего, зашагал по коридору налево. Позади послышалось возмущенное: «Эй, эй, эй!», но я не обернулся, так как в писклявом восклицании не было ничего угрожающего.

Рука моя ныла, и ныла очень ненормально. Такое бывало нечасто. Было ощущение, что она предчувствует, что сейчас случится. Где-то я даже слышал подобное, по-моему, от своего соседа, ветерана афганской войны, — он утверждал, что за ночь до того, как тебя ранят или убьют, ноет то место, куда ударит пуля.

Вскоре я нашел нужную палату. Дверь была прикрыта на тряпочку, и оттуда слышалось приглушенное бормотание. Не мешкая, я толкнул дверь ногой, вошел и сейчас же ослеп от яркого света, ударившего по глазам из раскрытого окна. Палата была намного светлее нашей, так как находилась на солнечной стороне.

Поморгав и привыкнув к свету, я прикрыл дверь и обнаружил, что подле меня уже стоят двое высоких и хмурых и закрывают третьего, сидящего на кровати у

окна. Тот, третий, был, несомненно, Марцеллом — я узнал его по оттопыренным ушам, светящимся на солнце.

Телохранителей я тоже узнал. По крайней мере, одного из них я знал хорошо.

Это был новичок из моей части, которого месяц назад хватил солнечный удар прямо на утреннем разводе, и он стукнулся лицом об асфальт, поломав себе челюсть в нескольких местах. Помню, он был широкоплеч и нагл, как дикий некастрированный жеребец, и всех доставал.

Однако месяц в госпитале с металлической скобой на морде, не позволяющей раскрыть рта, вынуждающей сидеть на постном бульоне, который приходилось сосать через трубочку, превратил его в угловатое длиннорукое чучело, совершенно неопасное, но обозленное до необычайности, — этакий Голиаф, получивший наконец по лбу, но не успокоившийся.

Второй был мне менее знаком, но и он успел зарекомендовать себя в столовой, когда на добровольных началах отбирал у соседней компот. И, по-моему, он был боксером.

Итак, я находился в чужом отделении, в чужой палате, подле двух отморозков, не гнушающихся бить слабых и абсолютно невосприимчивых к мукам совести. На миг это меня отрезвило, я подумал было уладить все по-христиански, но тут Голиаф, не разжимая челюстей, сцепленных скобами, нахально осведомился:

— Чего тебе?

Это меня взбесило.

— А ты типа не догадываешься? — бросил я и очень удачно провел левый крюк.

Голиаф рухнул, как подкошенный, и исчез между кроватями. Тут же его друг ударил мне в скулу, потом зарядил по корпусу, но удар прошелся вскользь. Я отступил на шаг и пнул его ногой. Теперь я точно знал, что имею дело с боксером.

Очень тяжело было управляться одной рукой, тем более левой, и боксер это прекрасно понимал, тесня меня в промежуток между стеной и кроватью, чтобы и левой негде было развернуться. Вскоре стало совсем худо, от отчаянья я полез бороться, и ох как стало хорошо, когда обнаружилось, что я крепче боксера! Я обхватил его за талию, рванул вбок раз, другой, он отчаянно засопровтивлялся, пытаясь схватить меня за шею, но это было невозможно. Мне бы место, куда его кинуть, и уверенность, что он не упадет мне на руку, и все было бы кончено. Однако места не было. Уже некоторое время Марцелл прыгал около нас, кричал что-то, пытался нас расцепить, но любое наше движение отталкивало его и бросало то на пол, то на кровать.

И когда мы оба уже порядочно запыхались, а горячка боя, как перегоревшая лампочка, пыхнула и стала стремительно остывать, в палату вбежала бледная молодая сестра.

— Это что еще?! — раздался ее визг.

Я сейчас же отпустил боксера и сделал шаг в сторону. Сестра смотрела на меня большими испуганными глазами.

— Ты кто такой? — спросила она визгливо.

Я не ответил. Тогда она повторила свой вопрос, обращаясь уже к боксеру. Тот тоже промолчал. Марцелл начал было что-то пискляво объяснять, но тут сестра увидела поверженного мною Голиафа.

— Господи! — воскликнула она, зажимая рот ладошкой. Затем пронзительно закричала: — Немедленно объясните, что здесь творится! Немедленно, слышишь, Ваню!

Она, наверное, очень боялась, что мы, молодые вояки, снова кинемся друг на друга, и кто-то из нас непременно окажется на полу и будет лежать так же неподвижно, как поверженный Голиаф.

Вскоре боксер, не выдержав ее напора, виновато опустил руки. Подумав, я тоже упустил. Нам обоим было как-то неудобно пыхтеть и потеть на глазах у молодой женщины, уже готовой упасть в обморок. А мне вдобавок было страшно и делалось еще страшней, так как на шум вот-вот должны были сбежаться все кому не лень и, не вдаваясь в подробности, запихать меня куда подальше... На гауптвахту. В подвальчик, что за баней.

Недолго думая, я прошмыгнул мимо сестры в коридор и кинулся к выходу. Сестра выскочила следом и истошно завопила: «Не выпускай его! Не выпускай!» Солдатик, дежурящий у выхода, оцепенел, увидев, что я на него несусь. Но мне он не был страшен. Гораздо больше я опасался боксера, который в приступе подхалимства мог основательно меня подзадержать. Но боксер из палаты не высывался. И никто ниоткуда не высывался. Коридор был пуст, как по заказу. Я благополучно добрался до выхода на лестничную площадку, несильно толкнул солдата в грудь (тот был даже рад отступить), дернул засов и вынырнул вон.

Вниз скакал, как угорелый, сразу через три, а то и четыре ступеньки, и чуть было не расшибся, неудачно подвернув лодыжку. Истеричная сестра кричала что-то вслед, но, слава богу, не преследовала.

Спустившись в приемную, я обнаружил, что астматики и диабетики уже получили свои кровные и теперь радостными группками по двое-трое идут по направлению в чепок. Не церемонясь, я пристроился к одной парочке, дохромал с ними до нужного поворота и незаметно отстал.

За время моего отсутствия меня никто не хватился, и я был немало этому рад, так как уже дважды успел задать себе один и тот же вопрос: зачем я это делал? (А действительно, зачем?)

С чувством неподдельного облегчения я уединился в уборной и очень удивился, не обнаружив на морде следов драки. Лишь левая щека немного припухла, но это легко могло сойти за небольшой флюс. Склонившись над раковиной, я долго, до онемения держал голову под холодной водой, потом так же долго терся вафельным полотенцем и тупо глядел на выцарапанную на кафеле фразу: «НИЧЕГО ХОРОШЕГО ИЗ ТЕБЯ НЕ ВЫЙДЕТ».

А еще через полчаса я не выдержал — пошел к сестре Зое и попросил вколоть обезболивающее.

К обеду рука болела так, как никогда. Даже до госпитализации было легче. Все же задели мне руку, думал я с горечью. Впрочем, сам виноват. Под предлогом, что у меня поднялась температура (а так оно и было), я отпросился от похода в столовую, и меня оставили с Юмом, пообещав принести обед в палату. Я решил было отказаться, но Юм настоял, чтобы все обязательно принесли. Мою порцию он, конечно, не осилил бы, но вот второй стакан компота лишним ему не казался.

Когда все ушли, Юм как-то незаметно сменил тему разговора (мы говорили о компоте), и я не сразу обнаружил, что меня осуждают. Это быстро убило настроение, только-только начавшее поправляться при мысли, что ни меня, ни Павла еще никто не вызвал на ковер. Но до моего настроения Юму было мало дела. Он больше беспокоился о моем здоровье и о здоровье Павла. Ну и о ковре, на который нас должны были вызвать — он был уверен, что рано или поздно нас вызовут.

Довольно долго и без пауз он вещал, каким образом сестричка, гнавшаяся за мной по коридору, отыщет меня и ответит к начальству, и как я буду там «экать и мэкать» и разводить руками, а начальство, покуривая сигареты, будет ухмыляться и переглядываться и в конце концов укажет в сторону гауптвахты, что за баней, и превращусь я там вместе со своей рукой в гниющий помидор, мягкий, слизкий и податливый. А Павел вообще с ума сойдет.

Я молчал, и поэтому Юм, наверное, решил, будто я раскаиваюсь. Тогда он принялся обстоятельно втолковывать, что в столовую мне теперь ни ногой, что послеобеденные прогулки тоже лучше прекратить, и что, ежели сестричка та, отчаявшись меня найти, лично припрется сюда и будет проверять каждого по списку, я обязательно должен быть в строю, но одновременно и не в строю, а для этого нужно стоять в строю, но у открытой двери, и, громко якнув, когда меня назовут, тут же скрыться в палате, юрко и незаметно, и желательно не показываться до самого утра...

— Зачем ты вообще это сделал? — спросил он, когда ему надоело говорить.

— Не знаю. Наверное, обостренное чувство справедливости.

— Ого, — сказал Юм. — А что думаешь насчет Марцелла?

Я ответил, что думаю насчет Марцелла, а заодно обо всех тех, кто верит в подобную чушь. Юм усмехнулся.

— Когда так говоришь, бывает ощущение, что ты абсолютно здоров.

— Я здоров, — заверил я. — Духовно — я здоров.

— То есть, по-твоему, девяносто процентов верующих нездоровы?

— Я такого не говорил.

— Ты это подразумевал. Немного подумав, до такого несложно дойти.

— Я — не дохожу.

— Ты просто не включаешь логику.

— Логикой можно и танк обозвать трактором.

— А разве это не так?

— Не-а.

— А по большому счету?

— По большому счету трактор в болоте глохнет.

Некоторое время Юм косился на меня.

— С тем же успехом, — сказал он, — можно утверждать, что оба агрегата смогут наравне работать в поле.

Я не нашелся, что ответить. Было как-то неудобно спорить о таких вещах с человеком, которого долгое время считал пэтэушником. Желая поменять тему, я спросил, что он сам думает о Марцелле.

— Первым делом мне просто хотелось бы его увидеть, — ответил Юм.

— Ничего интересного, — сказал я. — Маленький, бледный, с оттопыренными ушами и впалой грудью. И голос писклявый, как у девчонки.

— Так еще больше хочется его увидеть, — сказал Юм.

— Ничего интересного, — повторил я. — Даже глупо как-то: стоишь, пялишься на него и потихоньку приходишь к мысли, что сам себе лапшу на уши вешаешь.

— Это не так уж плохо, — заметил Юм. — Главное, чтобы посторонние не вешали.

— Вот поэтому я это и сделал, — сказал я.

Юм усмехнулся.

— А говорил: чувство справедливости...

— Хм... И это тоже.

Мы немного помолчали. Потом Юм сказал:

— А ведь Павел хотел привести его ко мне.

— Знаю. Но это была плохая идея.

— Еще бы.

— И не потому, что все это чушь.

— А почему?

— Представь, что было бы, если б Марцелл все же пришел, но ничего у него не вышло. Знаешь, что такое гнев униженных и оскорбленных?

— Догадываюсь.

— И я вовсе не про тебя говорю.

— Вот спасибо.

— Не за что. Случись такое, не я, а они бегали бы сюда и били бы всем морды.

Юм осторожно потрогал свои больные бока.

— Думаю, до такого не дошло б, — проговорил он, скривившись.

В коридоре послышались шаги и женские голоса. Потом дверь открылась, и две поварихи внесли обед. Палата наполнилась шутками и смехом. Равнодушно справляясь о нашем здоровье, поварихи быстренько управились со своими обязанностями и, наспех пожелав приятного аппетита, ушли к соседям. На тумбочках остались лежать два подноса с рисовой кашей, хлебом и компотом. Аромат горячей каши, в которой медленно таял кусочек сливочного масла, ударил по носу, и я понял, что есть все же хочу. Но прежде чем мы приступили к обеду, Юм, крихтя, поднялся, приблизился и чокнулся со мной стаканом компота.

— За чувство справедливости! — сказал он приподнято. — Пусть оно всегда будет обостренным и никогда тебя не покидает!

Он возвышался над моей кроватью, высокий, некогда, наверное, очень сильный и ловкий, а теперь — изможденный и бледный, с бледно-серыми губами, острым костлявым носом и голодными глазами затравленной лисички, пахнущий потом и медикаментами, смотрел на меня сверху вниз и тоскливо улыбался, и руки, держащие стакан, болезненно подрагивали...

Мне стало жаль его. Но потом я вспомнил, что не он, а я кричу каждый день на перевязке, а он лишь стонет по ночам и на перевязку вообще не ходит... Интересно, кто еще, кроме меня, кричит на перевязке? Раньше я об этом не задумывался. А задумавшись, решил, что, пожалуй, никто не кричит. Только я. Хотя я — не самый тяжелый пациент. И не самый слабый... Дело, наверное, в тяжести переживаемого. Или, лучше сказать, в отношении тяжести переживаемого к доле секунды. Как у танка — удельное давление на грунт, так у меня — удельное давление на сантиметр плоти...

Нет, не так. Лучше с другого боку. Юму хуже? Хуже. И Быкову хуже. И Павлу... Вдобавок я никогда не пойду к этому Марцеллу. Или все же пойду? Н-нет, не пойду. Наверное, не пойду. С другой стороны, я был точно так же уверен, что обедать сегодня не буду. А еще раньше был уверен, что ничего под наркозом не говорил. Или просто хотел быть уверен.

Так или иначе, к Марцеллу я не пойду. Потому что не верю. Или просто не хочу верить. Народ верит, а я — нет. Я — не народ. И Юм — не народ. И Павел, если встряхнуть хорошенько, тоже перестанет дурака валять...

А народу это даже полезно. Он этим и живет, народ наш: черными кошками, пустыми ведрами, бородавками от лягушек. Если это помогает скрасить и окультурить скучные будни, — почему бы и нет?..

Мифотворчество, подумал я. Я присутствую при мифотворчестве. В какой-то мере это даже исторический момент. Местный исторический момент. Местечковый. Подпитываемый глупым солдатским радио. Наверное, именно так и рождались легенды об Ильях-Муромцах, Батрадах и Одиссеях всевозможных мастей...

Тут в палату вбежал Павел и заорал перехваченным голосом:

— Он до меня дотронулся!

Мы с Юмом настороженно переглянулись, а Павел все орал:

— Он до меня дотронулся! Дотронулся! Марцелл до меня дотронулся!

Первым делом мы его успокоили. Это нужно было прекратить немедленно, ведь только каким-то чудом сестры до сих пор не обратили внимания на его по-

битую рожу. Потом я усадил его на кровать и заставил говорить спокойно. Для этого его пришлось пару раз встряхнуть, чтобы он понял, что кричать незачем, и мы его и так прекрасно слышим. Затем, запинаясь, он поведал нам о том, как до него дотронулся Марцелл.

Это случилось в столовой десять минут назад. Марцелл и его ближайший друг Ваню, видно, отстав от своего строя, появились вдруг в зале и немедленно подсели к Павлу. Представились. Затем Марцелл очень искренне извинился за то, что Павла побили.

Это, несомненно, было дикой ошибкой; оказывается, Марцелл даже не знал, что кто-то приходил к нему и просил о встрече. Ваню, неприветливо косясь на Павла, тоже высказал свои сожаления, а затем попросил извиниться и перед парнем с опухшей рукой, приходившим к ним, в «травму», часа два назад.

Павел смущенно пообещал, что все передаст. Он был немало ошарашен, так как совсем не готовился к подобной встрече. Не придумав ничего лучшего, он поспешно извинился за инцидент, произошедший два часа назад, и признался, что на самом деле долго уговаривал парня с опухшей рукой не делать того, что тот сделал.

Ваню, недобро ухмыльнувшись, хотел было что-то сказать, но Марцелл заговорил сам. Он сказал, что прекрасно понимает и Ваню, и Павла, и парня с опухшей рукой, и очень не хочет, чтобы подобное повторилось, это совсем ни к чему. Вдобавок уже идет разбирательство, и сейчас ему и Ваню надобно идти к начальству и подробно объясняться в том, что произошло. Но пусть парень с опухшей рукой не волнуется. По-своему он прав, и зла они на него не держат. Кроме того, Марцелл выказал желание заглянуть при случае в гости и лично все уладить.

— ...А потом он улыбнулся, пожал мне лапу — и все прошло, — закончил Павел, таращась на меня огромными влажными глазищами. — Понимаете: все! Больше ничего не болит. И синяков нет. Зырьте!

Я пригляделся. Синяков действительно не наблюдалось. Или почти не наблюдалось. Обычно средненькие фингалы заживали в течение недели: сначала два-три дня зеленели, потом желтели и в конце концов расплывались и исчезали. У Павла они уже были грязно-желтые. И я мог поклясться, что, когда он уходил на обед, они были свежие, с фиолетовым отливом.

— Я и за тебя попросил, — сказал Павел, обращаясь к Юму. — Как есть сказал. Марцелл даже поинтересовался, что именно у тебя болит, прикинь?

Юм, сидя на своей кровати, качнулся корпусом вперед и назад, словно его легонько толкнули в спину.

— Он придет, — уверял Павел дрожащим голосом. — Как только разберется с начальством, он придет. Это не шутки. Он действительно дотронулся. Извинился, улыбнулся, а потом пожал мне лапу. И теперь нет синяков!

Мне снова пришлось его успокаивать. Павел без конца что-то бубнил или вдруг начинал заливаться бессмысленным смехом. Мне это действовало на нервы. Вскоре я пришел к мысли, что смех этот вовсе не веселый и не бессмысленный, а какой-то зловещий. Мне даже страшно стало. словно смеялась надо мной отрубленная человеческая голова.

Ближе к ужину у Павла случился нервный срыв. Старшина не выдержал — позвал сестру Зою, и Павла забрали. Даже когда его уводили, он не переставал говорить о Марцелле — все не верил. Мы лежали в каком-то оцепенении, не решаясь поднять на него глаза, а когда его наконец увели, мы также не решились смотреть в глаза друг другу.

Потом сестра Зоя вызвала старшину в коридор, он вышел и вскоре вернулся, объявив, что сейчас у нас случится проверка. Оказывается, нашу палату не без

оснований заподозрили в распитии спиртных напитков, а возможно, и в употреблении наркотических средств.

— Так что, если у вас что-то имеется... — прошептал старшина и многозначительно умолк.

Скрылев напряженно хихикнул, и Быков не преминул его поддеть. Старшина натянуто улыбнулся, стараясь скрыть тревогу. Видно, он с самого начала не был до конца уверен в том, что знает о происходящем в его палате все. Он воровато глянул на меня и шепотом сообщил, что синяки на Павле уже обнаружили. Я неприязненно отмахнулся. Он пожал здоровым плечом, буркнув: «Кто знает...»

Вскоре нас попросили выйти в коридор и построиться. Только Юма оставили в палате. Мы построились, нас пересчитали, при этом придирчиво заглядывали в глаза, принимовались и задавали наводящие вопросы.

Проверял какой-то неизвестный капитан с жестокими прозрачными глазами. Скрылев, когда очередь дошла до него, весело поинтересовался, не будут ли брать мочу на анализ. «Дело в том, — признался он, — что я не хочу». Капитан, недолго думая, дал ему под дых. Скрылев пискнул, согнулся и закашлялся. Потирая кулак, капитан приказал нам раздеться до трусов и положить вещи на лавочку. Мы подчинились. Нас стали проверять на предмет свежих укулов. Сестра Зоя, стоящая неподалеку, высказалась в том смысле, что это бесполезно, так как почти всех каждый день колют антибиотиками. Помедлив, капитан рывкнул: «Кругом!» и «Спустить трусы!», усмехнулся и разрешил одеваться.

Тем временем нашу палату обыскивали еще два офицера. Из-за приоткрытой двери мы видели, как они роются в тумбочках, вываливают содержимое на кровати, переворачивают матрасы, щупают подушки и вытряхивают из книг закладки.

— Что с лицом? — рывкнул вдруг надо мной капитан. Я пропустил момент, когда он приблизился. — Я спрашиваю, что с лицом?

— Н-не знаю, — выдавил я. — Флюс, наверно.

— Флю-ус? — протянул капитан с жуткой усмешкой. Он вдруг цапнул мой подбородок двумя пальцами и рванул вверх. — Ты нашему торчку по чавке насо-вал? Говори!

— Н-н... нет, — сказал я, заикаясь от волнения. — Он уже давно такой.

— Чем вы тут занимаетесь? Отвечай!

— Н-ничем.

— Ах, ничем?! — взревел капитан. Я напрягся, ожидая удара.

— Ничем, товарищ капитан, — сказал вдруг старшина. — Я — главный по палате и со всей ответственностью заявляю...

— Ах, ты заявля-аешь? — перебил капитан. Он отпустил меня и приблизился к старшине. — Кто тебе дал право, солдат, говорить из строя без разрешения, у?

— Виноват! — выпалил старшина.

Капитан как-то незаметно дернул плечом, послышался хлопок, и старшина, пытаясь поймать ртом воздух, сложился пополам.

— Что вы делаете? — закричала сестра Зоя. — У него ж ключица сломана!

— Ключица... — передразнил капитан брезгливо. — Начальника у него нет, а не ключица! Где Вакенад? Где этот эскулап недоделанный?

— Он... — начала было сестра Зоя, но капитан перебил:

— Пьет он! Уже третий день по кабакам ходит, не просыхая! А тут его молодцы не отстают! Что же вы, Зоя Михайловна, сразу здесь и организовывайте питейное заведение, чтобы муженек хотя бы при вас был.

— Убирайтесь, — сказала сестра Зоя. На нее было страшно смотреть. — Убирайтесь немедленно!

Капитан как-то сразу успокоился, выпрямился и крикнул в приоткрытую дверь: «Закругляемся!» Потом он ловеще посмотрел на наш строй, и мне показалось, что взгляды его проникают в самую душу.

— Еще раз, — процедил он, — кого-нибудь из вас, сосунки, пьяным увижу, пеняйте на себя. Лечиться будете народными средствами: прорубью и муравейниками. Понятно?

— Так точно! — взревели мы с надлежащим испугом.

И он ушел. Следом за ним ушли и двое других.

Когда двери на крыльце хлопнули в последний раз, сестра Зоя не выдержала — заплакала. Подружки начали ее успокаивать. Мы, не дожидаясь распоряжения, удалились к себе наводить порядок.

При виде того, что стало с моей кроватью, у меня вырвалось ругательство. Я посмотрел на Юма. Он лежал, беззаботно закинув руки за голову, и смотрел в потолок, однако было видно, насколько он подавлен. Мы все были подавлены. Этот странный страшный капитан ни у кого не выходил из головы. Кто он? Откуда? Раньше его никто в госпитале не видел.

Скрылев то и дело вспоминал, как грубо капитан с ним обошелся, щупал ушибленное место и тихо стонал. Ринат, которому тоже досталось, просто лежал в кровати, массажировал плечо и даже не думал прибираться вокруг себя. Мне тоже быстро осточертело прибираться. С какой вообще стати я должен прибираться? У меня тоже, между прочим, рука больная! И наскоро поправив постель, я лег, отвернувшись к стене и попытался заснуть.

Вскоре прозвенел звонок на ужин, и я опять отказался идти в столовую. Жрать совершенно не хотелось. Впрочем, как и спать. Когда все ушли, я поднялся и растолкал Юма. До смерти тянуло поговорить. Но Юму было плохо, поэтому сначала говорил я один.

— Ты видел того капитана? — говорил я. — Нет? Или он не заходил в палату? Странный такой капитан. Должно быть, из разведки. Совсем непохож на наших хануриков. Нас ведь теперь тоже хануриками считают, а, Юм? Хануриками и торчками. Нам даже задницы проверяли на предмет укулов. Тебя не проверяли?

Я пытался развеселить его, но Юм только слушал, морщился и держался за бок. Ему было больно.

— Может, сестру крикнуть? — спросил я. — Нет? Ну смотри. Впрочем, когда из столовой вернется, я все равно крикну, хорошо?

Юм не ответил.

— Могу Марцелла позвать, — предложил я.

— Не смешно, — выдавил Юм.

Я истерически захихикал. Не знаю, что на меня нашло. Я не мог ни о чем думать, кроме Марцелла и Павла, у которого за несколько часов исчезли синяки. Мне нужно было срочно поделиться с кем-нибудь этим знанием, иначе, я был уверен, голова моя лопнет.

— Сейчас его, наверное, допрашивают, — говорил я. — А он, дурак, рассказывает, как Марцелл до него дотронулся. В дурку его посадят, вот что. Эх, Павел, Павел. И надо было ему идти к этому Марцеллу... Или это из-за меня? Как думаешь, Юм?

Юм не ответил.

— Или ты тоже поверил в силу исцеления?

— Не смешно, — сказал Юм.

— Конечно, не смешно! Одно дело не уметь плавать, но выбраться-таки на берег, и совершенно другое — поверить в силу исцеления, увидев заживающие синяки. Сам подумай!

— Я подумал, — сказал Юм.

— Что ты подумал?

— Что мне больно. И что мне совсем не помешает прикосновение целителя, даже если он не целитель.

— Вот те на! — сказал я досадливо.

— А еще я подумал, — добавил Юм, — что, если ты не заткнешься, тебя заберут вместе с Павлом.

— За меня не волнуйся, — сказала я успокоительным тоном. — Я здоров, если не считать руки и небольшого потрясения.

— Вот именно — потрясения! — сказал Юм раздраженно. — Выпей, чтоб поскорей прошло. И мне притащи.

— Обойдешься, — сказал я и встал. Разговаривать почему-то расхотелось. — Еще одной встречи с этим капитошкой я не вынесу.

— Тогда иди помирись с Марцеллом, — предложил Юм.

Я посмотрел на него как на ненормального.

— А вот это даже глупее бутылки пива.

— Отлично, — сказал Юм равнодушно. — Тогда давай просто поспим.

Не успел я толком уснуть, как меня бесцеремонно растолкали. Это были Скрылев и Быков. Они только что вернулись из столовой и, перебивая друг друга, сообщили, что в городе назревает что-то нехорошее: во всех частях объявлена боевая готовность, а к нам в госпиталь вот уже час назад послано усиление.

— Ну-ну, — сказал Юм спросонья.

А я, если честно, даже не удивился. Было бы странно, если бы ничего больше не произошло. Насыщенный день обязан заканчиваться насыщенно.

Минут десять спустя нас снова построили. Теперь уже весь этаж был в сборе, все хирургическое отделение, включая дежурных сестер. Шеренга наша, похожая на бубнящую сороконожку, растянулась на полкоридора.

Лысые головы масляно блестели в свете ламп, крутились из стороны в сторону, пытаюсь хоть в чем-нибудь разобраться. Запах стоял отменнейший. Зам Л. Вакенада (не знаю его имени), срочно вызванный из дому, без вступлений сообщил, что в наряд на КПП срочно требуются люди, и предложил вызваться добровольцам. Сороконожка на миг перестала бубнить, замерла, но, опомнившись, тут же запричитала, зашуршала всеми своими конечностями и пошла рвать.

— Мы че, самые кучерявые?

— Никуда я не пойду, у меня — аппендицит!

— Я ваще хромой!

— Пускай переломышей просят!

Зам Л. Вакенада рыкнул что-то грозное и обидное, потом повторил, что на КПП немедленно требуются люди, и предупредил, что, если никто не вызовется, он сам выберет, кому идти.

Никто, естественно, не вызвался, что послужило поводом для упреков. Начали обзывать трусами, а сестра Зоя, муж которой почему-то до сих пор не объявился, ходила вдоль строя и заглядывала каждому в глаза.

Не дожидаясь, когда очередь дойдет до меня, я сделал шаг вперед. Зам Л. Вакенада смерил меня оценивающим взглядом, хмыкнул и послал обратно в строй, сославшись на то, что нужны люди, способные держать автомат. Я же остался при своем мнении: ничего серьезного ханурикам и торчкам поручать нельзя. Большое спасибо Павлу.

— А может, пусть других назначат, — сказала одна из сестер по имени Ирма. — Почему чуть что — сразу хирургия?

— У нас же не бесплатная рабсила, — поддерживала сестра Зоя.

— Девушки, — сказал зам Л. Вакенада. — У нас приказ. Кроме того, другие без дела не останутся.

— Что вообще происходит? — спросил Скрылев.

Зам Л. Вакенада посмотрел на него с неудовольствием, но, увидев, что не один Скрылев ждет ответа, сказал:

— Ничего ужасного. Просто в черте города обнаружена вооруженная банда, которую вот-вот поймают.

Мы притихли, переваривая услышанное. Банда. Вооруженная. В черте города Умгу.

Зам Л. Вакенада, казалось, был очень недоволен тем, что сообщил нам это.

— Теперь, — сказал он, возвышая голос, — мне нужны двое с руками, ногами и желательнo с мозгами!

Вскоре вызвались двое парней, уже пошедших на поправку, и немедля были посланы переодеваться. Остальных попросили вернуться в свои палаты, наказав ни под каким предлогом не покидать стен хирургического отделения.

Госпиталь ожил и забурился как гигантский муравейник. Уже давно стемнело и похолодело, и в похолодевшей темноте слышался непривычно многоголосый рев моторов, топот ботинок и резкие команды, требовавшие остановиться, оправиться, назваться, закрепиться — им отвечали так же резко, но очень уж тихо, так что ничего нельзя было разобрать.

Окна во всех зданиях горели тревожным желтым, и там угадывались тонкие серые силуэты — негодные для обороны солдатики во все глаза пытались рассмотреть, что творилось у них под окнами, но под окнами была только темнота, а в темноте — рев, топот и резкие грубые команды.

Нас пересчитывали чуть ли не каждые полчаса и все повторяли: «Ничего серьезного, ничего серьезного». Так бедные сестрички, наверно, успокаивали самих себя.

Мы послушно строились и с готовностью якали, когда звучала нужная фамилия, и даже не ворчали, когда сестре Зое пришлось в голову заново назначать пожарный расчет. Нам даже разрешили курить в палате при условии, что мы будем пресекать всякого, кому вздумается выйти подышать свежим воздухом. Однако эта вольность вскоре дошла до зама Л. Вакенада, и недокуренные сигареты пришлось спешно тушить и выкидывать в окно. Впрочем, курил не я.

Вскоре прибыло и обещанное усиление. Через ворота КПП под веселый свист, доносившийся чуть ли не из каждого окна, въехали два грузовика и остановились неподалеку от нашего здания. Из кузовов сейчас же ссыпались солдатики — в касках, бронежилетах, с автоматами, перекинутыми через угловатые плечики, — и поспешно, но как-то неловко стали строиться перед двумя орущими на них командирами. Командиры, по-моему, были пьяны. С вялой небрежностью они махали руками, указывали, кому куда бежать, спотыкались, роняли сигареты — солдатики тянули им новые, но командиры даже не могли чиркнуть зажигалкой, чтобы появился огонь. А может, просто ветер мешал.

Через несколько минут все разбежались. У грузовиков остались только два крикливых радиста, безуспешно пытающихся включить друг у друга рации. Кто-то из соседнего окна немедленно крикнул: «Эй, камрады! Что слышно?» «А хрен его! — ответил один из радистов. — Одни говорят — нападение, другие — учения». Мы уже было вздохнули с облегчением, как второй радист сказал: «Ага, учения! А че у меня патроны боевые?..»

Мимо грузовиков по направлению к КПП пробегали двое с автоматами. В свете фар я сразу узнал Марцелла, а затем и Ваню. Каким-то образом они меня

тоже разглядели и узнали: Марцелл приостановился, Ваню, бежавший следом, с треском на него налетел и громко выругался.

Я дернулся. Захотелось немедленно отойти от окна, но я подавил этот порыв и стал смотреть на них в ответ.

Ваню смотрелся впечатляюще: высокий, ладный, в бронежилете, в каске, с автоматом. Я даже засомневался — с ним ли я дрался? А Марцелл...

Марцелл же, взяв в руки оружие и надев форму, стал похож на пугало. Каска на голове, как полевой котелок на палке, тонкая шея жердью торчит из бронежилета — вот-вот обломится, а автомат и боеприпасы, прикрепленные к поясу, заставляют его неестественно кособочиться вправо. Да уж, кисло подумал я. Целитель... Его место было явно не здесь и явно не с боксером Ваню. Рядом с Ваню он был как котенок рядом с Цербером. Полнейшее несоответствие.

Однако, несмотря на это, оба, как старые добрые друзья, помахали мне руками и побежали дальше, трясая тяжелыми бронежилетами.

Я обалдел. Я обалдел настолько, что не отходил от окна до самого отбоя и все ждал, когда эта парочка покажется снова. Но они не показывались. Наверное, на КПП посылали не только из нашего отделения.

Я представил, как Марцелл, добрая душа, со слезами на глазах упрасивал своего начальника отпустить его на КПП, и как ему добродушно хмыкали, так же, наверное, как и мне, только более унижительно, и как он подошел к Ваню и поставил ультиматум: либо мне сейчас выдают оружие, либо хрен когда еще я тебя вылечу. И если Ваню такой же ненормальный, как и Павел, то именно он пошел и выпросил у начальства оружие...

Интересно, как там Голиаф поживает? Если челюсть у него снова треснула, и если Марцелл по каким-либо причинам к нему не «притронулся», то, наверное, очень плохо поживает. В этом случае имеет смысл располагать некоторыми мерами предосторожности. Такими, как, например, кастет. Или крепкий боевой товарищ...

Зачем я вообще это сделал? Неужели действительно чувство справедливости? Даже странно как-то... С другой стороны, случись что-то серьезное, меня б давно нашли, скрутили и показали страшному капитану, и он-то сразу понял бы, что никакая это не справедливость, а самая что ни на есть бесшабашная агрессивность — от избытка молодецких сил...

Далеко в городе послышались хлопки, словно кто-то начал истерично дубасить молотком по деревянному полу.

— Стреляют, — равнодушно сказал Юм, а сестра в коридоре громко объявила:

— Отбой!

Поздно за полночь мы проснулись от крика. Кричала сестра Зоя. Мы еще глаза не успели открыть, а Быков уже был на ногах и с удивительным проворством бежал на цыпочках к двери. Когда он выглянул в коридор, крик сестры Зои усилился. Быков, выругавшись, вышел и прикрыл за собой дверь.

Я отбросил одеяло и резко сел, силясь прогнать остатки сна. На секунду мне показалось, что и крик сестры Зои и бегущий на цыпочках Быков мне приснились, но с соседних кроватей на меня глядели блестящие, выпученные от страха глаза, и я понял, что это не совсем сон.

Сестра Зоя снова закричала.

Я поднялся, намереваясь выяснить, что произошло, но тут в палату ввалился Быков. Точнее, его попросту впихнули. Чтобы не упасть, он схватился за спинку моей кровати и выгнулся, приняв какую-то неестественно болезненную позу.

Вслед за ним в комнату вошел зам Л. Вакенада, приглушенно зашипел: «Чтобы носа твоего не видел!» — и сразу же вышел. Дверь за ним хлопнула, и я оконча-

тельно проснулся. Быков все еще стоял возле моей кровати, прижимая нос ладонью. Я включил свет и увидел, что из-под ладони у него течет кровь.

— Что там? — спросил старшина, щурясь от света.

— Вакенада привезли, — ответил Быков из-под ладони. — И Македонского. Их кто-то покоцал.

В коридоре снова послышался крик сестры Зои, а незнакомый мужской голос виновато сказал: «Я тут при чем?»

— Они при смерти, — добавил Быков. — Вакенад вроде не дышит.

— Так ему и надо, — пробормотал Скрылев, не отрываясь от подушки.

Я кинул в него «Анной Карениной».

— Слушайте, может, попросим, пусть нам оружие выдадут, — сказал Быков, оглядывая нас. — Мы ж совершенно беззащитные.

— У тебя — полгоспиталя в охранении, — заметил Юм.

— Так то они. А мы? Тут через забор перелезть — как два пальца обоссать.

— Брось, — сказал старшина. — В патруле человек двадцать, плюс засады и прочее. А в случае чего — еще приедут.

— Ты меня не слушаешь! — сказал Быков запальчиво. — Твои патрули — на улице. Первым делом они себя защищать будут. А мы — у забора. Прямо как на ладони. Что будешь делать, когда к нам полезут?

— Заткнись, — сказал Юм. — Ляг и успокойся.

Я вдруг почувствовал себя слабым и незащищенным. Даже холодок по спине пробежал. Очень не хотелось, чтобы кто-то увидел меня в эту минуту, поэтому я поспешно выключил свет и прогнал Быкова подальше от своей кровати.

Быков лег, но не затих. Он продолжил распространяться о том, насколько опасно нам здесь находиться, без охраны, без оружия, в здании с хлипкими деревянными дверями, с окнами без решеток, до которых только ребенок не дотянется.

Мы почти не слушали, но и не перебивали, так как иногда он говорил очень разумные вещи. Например, он сказал, что может получиться прекрасный акт устрашения: минимум сопротивления, максимум заложников, вдобавок все как один — жалкие, увечные, неспособные на побег. Новый Беслан...

Он говорил это таким отчаянным тоном, что мы невольно представляли, будто все уже произошло на самом деле, и мы не у себя в палате, а на полу в каком-нибудь актовом зале под прицелом автоматов, и раз в час одного из нас поднимают и куда-то уводят. Насильно.

Когда я уже был готов наорать на этого нытика, в палату вошел зам Л. Вакенада. Он включил свет, и мы увидели его белое обеспокоенное лицо. Таким я его еще не видел. Точнее, видел, но не совсем таким. Как-то раз к нам в госпиталь нагрянула проверка из областного центра, и единственный из всех офицеров, которого застали пьяным, был как раз зам Л. Вакенада. Так вот, тогда он выглядел почти так же.

— Старшина, — позвал он хрипло. — Кто у тебя более-менее здоров?

Старшина, щурясь от света, немедленно показал на меня, затем на Быкова, затем, подумав, на Скрылева. Зам Л. Вакенада кисло поморщился.

— И все? А в других палатах?

— Руднев в двенадцатой и Чернышев в одиннадцатой, — ответил старшина.

— Отлично, — сказал зам Л. Вакенада. Он неприязненно посмотрел на Быкова. — Вставай, захвати Руднева с Чернышевым — и бегом к машине. Только не трепись!

Быков встал, надел штаны, рубашку, тапочки и, утирая нос платком, выскочил вон. Напоследок он задел зама Л. Вакенада рахитичным плечиком. Зам Л. Вакенада тем временем медленно переводил хмурый взгляд с меня на Скрылева и обратно. Мы спешно натягивали штаны.

— А что нужно делать, товарищ лейтенант? — подал голос Скрылев.

Зам Л. Вакенада молчал. Он думал, стоит ли вообще брать нас с собой. Похоже, он вот-вот должен был передумать.

— Ты как, сможешь нести? — спросил он меня.

— Да, — сказал я почти уверенно.

Еще некоторое время зам Л. Вакенада молчал.

— Хорошо, — сказал он наконец. Чем-то мой ответ его удовлетворил. — Тогда следы, пожалуйста, за ним. — Он показал на Скрылева.

Потом мы вышли. В пустом коридоре гулял сквозняк, и ноги мои тотчас напомнили о том, что я забыл надеть носки. Скрылев изо всех сил пытался идти прямо и не хромать — получалось довольно комично. Мы молча дошли до приемной и столкнулись с каким-то небритым пожилым гражданским в кожаной куртке.

— Наконец-то! — воскликнул он, увидев нас.

Зам Л. Вакенада нетерпеливо отмахнулся, и тут я заметил, что руки у небритого гражданского в крови. Скрылев, заметив то же самое, приглушенно ойкнул. Зам Л. Вакенада презрительно скривился, буркнул: «Пошли», и вчетвером мы вышли на крыльцо.

Сырой ночной ветер коснулся лица. В свете лампочки, висящей на козырьке подъезда, я увидел большой неуклюжий фургон, заполнивший наш дворик полностью. Фургон работал на холостых оборотах и еле заметно подрагивал, как пережившая свое время стиралка. Задние дверцы фургона были распахнуты, у подножки, ссутулившись, стояла сестра Зоя. Она, кажется, плакала. Я не видел ее лица, она стояла спиной, но и этого было достаточно — в груди у меня что-то неприятно заныло то ли от жалости, то ли от страха. Я вдруг совершенно отчетливо понял, что не хочу приближаться к фургону. Однако нужно нам было именно туда.

Мы торопливо спустились с крыльца и приблизились вплотную к фургону. Зам Л. Вакенада отстранил сестру Зою, и я увидел, что в салоне на дощатом полу плечом к плечу лежат два тела. Я не сразу понял, что это товарищ полковник Македонский и спаситель мой — майор Л. Вакенад. Люди вообще очень сильно меняются, когда умирают. Впрочем, эти были еще живы. Македонский, например, сверлил нас мутным обозленным взглядом и вид имел такой, будто изо всех сил тужился задержать дыхание. Если бы не его мокрый от крови китель, не плач сестры Зои, не это чертово усиление посреди ночи, ей-богу, я бы засмеялся.

— Ну, что встали? — осведомился зам Л. Вакенада, выводя всех из ступора. — Зоя, почему не в операционной? Сейчас же наверх.

Сестра Зоя не пошевелилась. Она смотрела на своего мужа, глаза у которого были закрыты. Вообще Л. Вакенад выглядел неважно. Насколько я мог судить, по нему прошлись длинной очередью и только каким-то чудом он мог еще дышать.

— Зоя! — крикнул зам Л. Вакенада и потряс ее за плечо. — Бегом наверх! Слышишь?

Сестра Зоя раскрыла рот, хотела что-то сказать, но не смогла.

— Послушай, — сказал зам Л. Вакенада. — Все будет хорошо. Слышишь? Иди наверх и помоги Ирме.

— Д-да, — пролепетала сестра Зоя и закивала. — Да, да. Сейчас.

Она наконец сделала первый неуверенный шаг назад, споткнулась, пискнула, потом повернулась и побежала. Проводив ее взглядом, зам Л. Вакенада посмотрел на меня и раздраженно спросил:

— Где эти олухи?

Я покачал головой. Я понятия не имел, где эти олухи.

— Олухи, — сказал вдруг Македонский отчетливым басом. Мы ошеломленно замерли. — Олухи! — заорал он во все горло. — Свињи! Скоты! Посреди улицы! Перестреляю!

— Давай носилки, — сказал зам Л. Вакенада.

Я сначала не понял, где мне их брать, но потом увидел: носилки лежали у ступенек, именно о них споткнулась сестра Зоя. Я кинулся за носилками.

— Рвань! — кричал Македонский, брызжа красной слюной. — Дикари вшивые! Щ-щенки!

— Заткнись! — прикрикнул зам Л. Вакенада.

Но и без этого Македонский зашелся кашлем. Он кашлял, пытаясь поднять отяжелевшие руки, сжимал кулаки, морщился, ворочался, сгибал ноги в коленях, задевал неподвижного Л. Вакенада и размазывал кровь по дощатому полу... Я поднес носилки. Скрылев взялся за ручки с одного края, я — с другого. Наблюдая за всем этим, зам Л. Вакенада выматерился.

— Что встали? — осведомился небритый гражданский. — Мне ехать надо, а там патрули по всему городу.

— Как они понесут? — недовольно отозвался зам Л. Вакенада. — Ты его руку видел? — Он показал на мою пухлую кисть. — Где эти олухи? — снова спросил он меня.

— Не знаю, — сказал я виновато.

— Олухи, — сказал Македонский с наугой. — Именно олухи. Профукали. Профукали, свиньи! Прямо под носом. Теперь расхлебывайте! — Он снова закашлялся.

— Я понесу, — сказал небритый гражданский. — И ты, — сказал он заму Л. Вакенада. — А они помогут.

Зам Л. Вакенада покачал головой и с отвращением сплюнул.

Он был прав. Вдвоем здесь не справиться. Ступеньки на второй этаж, где находилась операционная, очень крутые. Необходимо четыре человека как минимум. И желательно очень здоровых человека... Я представил, как буду нести носилки, и как моя пухлая кисть затрещит от напряжения, и как долго потом все это будет заживать.

Господи, подумал я. Мне стало плохо. Нет уж, обойдусь. Калечиться из-за какого-то труса я больше не намерен. Хватит одного Павла... Я был просто уверен, что Быков струсил. И двое других — как их там?.. — Руднев и Чернышев. Тоже мне бойцы. Защитники Родины. Солдатики...

На крыльце вдруг появился Быков. Один. Никаких объяснений больше не требовалось.

— Бегом сюда! — скомандовал зам Л. Вакенада.

Я, Скрылев и Быков с готовностью распределились вокруг носилок, а зам Л. Вакенада и небритый гражданский принялись тащить из фургона тело товарища майора. «М-м-м», — слабеющим голосом выдавил Скрылев и отвернулся. Вслед за ним отвернулся и Быков. Я отвернуться не смог. К горлу немедленно подкатило, в ушах зазвенело, и сквозь этот звон до меня вдруг дошло, что никогда еще такого я не видел. Всякое видел: и кровь, и грязь, и мертвецов, но не такое. Такое вообще не стоит видеть. Никому. Абсолютно никакого опыта. Даже наоборот: ты будто чувствуешь, как из тебя медленно вытекает что-то важное, жизненно необходимое, что оно, несомненно, понадобилось бы тебе в дальнейшем, а сейчас, увы, уже не понадобится. Никогда.

Я ощущал, как от тела товарища майора исходит плотный запах перегара, и запах крепкого офицерского одеколона, и еще что-то неуловимое, а когда тело наконец уложили на носилки, и я почувствовал его тяжесть, и услышал тяжелый влажный хрип, выпущенный из простреленных легких, в лицо мне, как оплеухой, ударило запахом человеческой крови.

Я отвернулся. С облегчением. Какой-то частью себя я понял и Руднева, и Чернышева, которые отказались выходить. Затем меня грубо оттолкнули. Зам Л. Вакенада, закряхтев от натуги, сам взялся за ручки, а мне приказал взяться сбоку, за борт. То

же самое сделали Скрылев и Быков. На ручках их сменил небритый гражданский. «Пошли», — сказал зам Л. Вакеиана, и мы стали неуклюже, как стреноженная лошадь, продвигаться к крыльцу. Зам Л. Вакеиана споткнулся, крикнул что-то, мы дернулись и вдруг пошли более осмысленно.

Потом была приемная, коридор, и лысые головы, опасливо выглядывающие из палат, и скользкий кафель, и жадное сопение прямо над ухом. А потом и лестница на второй этаж.

Ох, и зараза! Кажется, я повторял один из подвигов Геракла. Л. Вакеианау вдруг вздумалось съехать с носилок в объятия небритого гражданского, и мне с Быковым пришлось брать липкое от крови тело под мышками. Успели, удержали. Кровь у товарища майора была отвратительно теплая. Мы пронесли его на одном дыхании, сопя, ругаясь, проклиная все на свете и наступая друг другу на пятки, но все же донесли его, и внесли в неестественно светлую операционную, и переложили на так называемый операционный стол, больше похожий на операционную кровать, и сестра Зоя со спокойным, неестественно сосредоточенным лицом немедленно принялась расстегивать окровавленный китель на груди мужа.

«Неужели все?» — подумал я неуверенно. В висках гулко стучала кровь, соленый пот застилал глаза. Я без сил оперся спиной о стену и вяло огляделся. Запахавшийся зам Л. Вакеиана вытягивал из-под тумбы какие-то провода. Ему помогала неестественно сосредоточенная сестра Ирма. Не менее сосредоточенная сестра Зоя, сжав губы, резала прилипший китель Л. Вакеиана ланцетом («Она что, ножницы взять не может?..»).

Небритый гражданский, отдуваясь, вытирал со лба пот. Скрылев и Быков, мученически разинув рты, нетвердо переминались в дверях. Все, подумал я с облегчением. Но это было, конечно, не все. Нужно было поднимать еще одно тело. Еще один подвиг... Я отстранился от стены и потянулся за носилками, лежащими на полу.

— Правильно, — сказал зам Л. Вакеиана с одобрением. — Сейчас. — В голосе его появилась какая-то неуловимая теплота. Ко мне? За что? — Сейчас-сейчас, подожди. Хотя нет, лучше спускайтесь. Да, спускайтесь.

— А ты? — хмуро спросил небритый гражданский.

— Ирма, — сказал зам Л. Вакеиана. — Ты позвонила в больницу?

— Да. Выехали.

— Хорошо, — сказал зам Л. Вакеиана, не переставая возиться с проводами. — Зоя, готовь капельницу. А, уже... Да-да, сейчас спущусь, — сказал он нам. — Вы лучше идите.

Небритый гражданский покачал головой.

— Парни не осилят, — сказал он недовольно. — Ты нужен.

— Знаю, — сказал зам Л. Вакеиана. — Сейчас. Дайте подключить его. — Он посмотрел на меня и участливо спросил: — Как рука?

Я рассеянно кивнул. Не хотелось жаловаться.

— Хорошо, — сказал зам Л. Вакеиана. — Ты — молодец. Спускайтесь вниз и ждите меня. Буду через минуту. Не трогайте его и не позволяйте двигаться. Вообще ничего не позволяйте.

Он обращался ко мне, исключительно ко мне, и это накладывало некоторый отпечаток. Я выпрямился. Я сжал носилки в здоровой руке, потом подумал: «Какого черта?» — и передал их Скрылеву и Быкову.

— Ну, что встали? — рявкнул я. — А ну бегом вниз!

Скрылева и Быкова как ветром сдуло. Даже небритый гражданский дернулся. Зам Л. Вакеиана удовлетворенно крикнул, а я, подхватив под локоть небритого гражданского, решительно вывел его из операционной. За спиной послышалось: «Теперь все будет хорошо, Зочка...»

На лестнице небритый гражданский попросил закурить. Я полез было в карман, но, опомнившись, покачал головой. Мысли мои были заняты другим. Что это на меня нашло? Приступ служебного рвения? Или просто погладили собачку по холке, а она хвостиком от радости туда-сюда, туда-сюда. Да уж, подумал я. Срам. Стыд и позор... Я искоса глянул на небритого гражданского, неторопливо спускающегося рядом. Не стоило при нем твякать. Все-таки не так часто я вижу гражданских. А если подумать, то вообще не вижу. Одичал совсем...

— Это ваш фургон? — спросил я вежливо.

Небритый гражданский рассеянно кивнул. Он тоже о чем-то думал.

— А где вы их подобрали? — спросил я еще вежливее.

Небритый гражданский неопределенно махнул рукой, потом буркнул:

— Если б не я, давно б померли.

— Вы — молодец, — сказал я.

— А то! — сказал небритый гражданский, оживляясь, как рыбак, у которого вдруг клюнуло. — Валялись там, как два мешка, и хоть бы одна собака подошла. Не поверишь: пустая улица до самой площади.

— Верю.

— И это в выходной день.

— Умгу... — Я терпеливо ждал продолжения.

— Их с машины постреляли, — сообщил небритый гражданский. — Тут недалеко. Наверно, приставали к кому-то. Лупанули с автомата — и по газам. Я выстрелы за два квартала слышал — домой ехал. Народ с той улицы бежит, а я — наоборот. — Он помолчал. — В общем, так им и надо! — заключил он сурово.

У меня никак не получалось сопоставить информацию о том, что в черте города обнаружена банда, с тем, что сказал сейчас небритый гражданский. Получалась странная картина: в черте города обнаружили банду, организовали усиления, выгнали в город патрули, а банда, прикарманив чью-то машину, не заморачиваясь, миновала десятки патрулей, уже собиралась было затаиться в чьем-нибудь подвале, как вдруг случайно наткнулась на двух запивших офицеров, которые, не ведая, что творят, приставали к одной неподкупной молодке...

Или это две совершенно разные истории? Молодка, например, была сестрой местного чемпиона по вольной борьбе, имеющего по такому случаю автомат и горячую голову, а банда была просто бандой, и бандой осталась, потому что ее до сих пор не нашли... Еще вроде выстрелы были, прямо перед отбоем... Но это точно другая история. С момента отбоя прошло часа три, не меньше. За это время даже такой медведь, как Македонский, окоченеет... Странная, в общем, история, неплохо бы в ней разобраться...

Но я не успел в ней разобраться, потому что мы вышли на крыльцо, и я увидел, как Скрылев и Быков пытаются утихомирить медведя-Македонского, который снова почувствовал в себе силы: рычал, сжимал кулаки, но на этот раз решил вдобавок выползти зачем-то из фургона.

— Да что он никак не уgomонится, — досадливо пробурчал небритый гражданский. — Еще там с ним возился.

— Боевой офицер, — пояснил я, и мы оба принялись помогать Скрылеву и Быкову.

Я не знал, как утихомиривают разъяренных медведей. И остальные, как видно, тоже не знали. Мы просто хватали окровавленные лапы за запястья и, бормоча что-то уважительно-успокоительное, пытались прижать их к полу фургона. Нашего сопротивления товарищ полковник почти не чувствовал. Зато его сопротивление чувствовали все.

Вскоре я как-то неосторожно выставил больную руку и ее немедленно отдавили — не могли не отдавить. Впрочем, сам виноват. Ладонь вдруг мерзко так

скрипнула, на секунду я как бы выпал из сознания, а когда очнулся, обнаружилось, что я отчаянно выпихиваю себя из толчеи, в которую угодил.

Выпихнулся, словно из кипятка вынырнул. В ушах оглушительно звенело и толкалось. Заранее подавив приступ тошноты, я посмотрел на руку. На бинтах медленно проступало розовато-желтое. Дьявол, все проступает и проступает! Не придумав ничего лучшего, я прижал мою бедняжку к животу и попытался успокоить. А за спиной все бубнили и бубнили, как беспокойные соседи:

- Поганцы вшивые, вот я вас сейчас!
- Товарищ полковник, ну, товарищ полковник...
- Думаете, раз — и нету? Раз — и забыли?
- Товарищ полковник, ну, товарищ полковник...
- Всех вас, сопляков вшивых, к стенке!
- Товарищ полковник...
- И матерей ваших!..
- Ну, товарищ полковник...
- И сестер ваших!..

И вдруг все прекратилось. Замолкло, словно кто-то выключил звук в телевизоре. Я еще ощущал боль, и в ушах все так же звенело и толкалось, но никто больше не бубнил, не сопел и не упрашивал. Даже фургона не было слышно. Мелькнула спасительная мысль, что я просто отупел от боли, но в следующий момент я увидел Марцелла.

Его все давно увидели. И первым делом его увидел Македонский, а увидев — замолчал, чем заставил замолчать и остальных.

Все смотрели на этого лопухого, веснушчатого паренька в тяжелой боевой амуниции, прижимавшей его к земле, как двухсотлетнюю черепаху прижимает к земле панцирь, и было совершенно непонятно, знают ли они, почему молчат, и правда ли, что молчат они по одной и той же причине.

К примеру, я бы ни за что не поверил, что небритый гражданский замолчал потому, что почувствовал в Марцелле что-то необычное. Нет, он замолчал потому, что замолчали все. Инстинкт толпы, и только. Вот Скрылев с Быковым, эти — да, эти два олуха замолчали именно потому, что знали, кто такой Марцелл и чем он у нас занимается...

Только вот никак не получалось представить, почему замолчал истекающий кровью Македонский, боевой офицер, кавалер орденов и просто убежденный во-яка. Его лицо стоило видеть.

Это было лицо ребенка. Лицо мальчишки, впервые попавшего в цирк. Лицо мальчишки, которого отругал папа, а потом неожиданно приласкала мама. Лицо, успокоенное теплотой. Оно смотрело с боязливой надеждой, как, наверное, смотрят юноши на обнаженных девушек, если все у них идет как надо, без этой обычной грязи, без пьяного дешевого бормотанья и потного обжимания в темных подъездах... Лицо Павла, у которого исчезли синяки...

Рядом с Марцеллом стоял мой старый знакомец Ваню, и его тоже стоило видеть. Жалобно подвывая, он тянул Марцелла за рукав и шептал что-то неразборчивое, что-то вроде: «Ну, пойдём отсюда, ну, пожалуйста, ну, не надо...» И это, наверное, было самое главное: хрупкий лопухий Марцелл и сильный волевой Ваню, ныне согнувшийся и жалкий.

Что-то во мне оборвалось. Я вдруг неуверенно подумал, что будет совсем неплохо, если Марцелл до меня дотронется. В том, что он пришел сюда дотрагиваться до кого-то, я нисколько не сомневался. Это было само собой разумеющееся. Зачем еще он сюда приперся? А представить, как это будет, было нетрудно. Это было даже приятно представить. И я с удовольствием себе это представил.

Выражение лица у меня, наверное, сильно изменилось, так как я увидел, как Ваню на меня глянул. Все понял, скотина. И заревновал.

— Ну, пойдём отсюда, ну, зачем тебе, ну, не надо, — залепетал он ещё отчаянней.

А Марцелл задумчиво глянул на меня, глянул на Македонского, вежливо отмахнулся от Ваню, посмотрел на светлые окна второго этажа, где находилась операционная, и, поправив ремень автомата, направился к крыльцу, и Ваню, почтительно держащий его за рукав, потащился за ним, как песик на поводке.

— Ну, пойдём отсюда, — лепетал он еле слышно. — Ну, зачем тебе, ну, не надо...

Вскоре они исчезли в здании. Я осторожно глянул на Македонского и отвернулся. Никакой не ребенок, подумал я. Теперь, ребята, успокаивайте его сами...

— Это кто был? — нерешительно спросил небритый гражданский.

— Марцелл, — тихо ответил Скрылев.

Тут Македонский болезненно медленно раскрыл пасть, болезненно медленно набрал полную грудь воздуха — и заорал. Это была истерика.

Народ повернулся, чтобы успокоить его, и поэтому никто, кроме меня, не увидел давешнего капитана, обладателя жестокого прозрачного взгляда, забравшего Павла и обещавшего лечить нас прорубью и муравейником, если мы снова попадемся ему пьяными. Он выступил из темноты, как это обычно проделывают вампиры в старых фильмах — выплыл, точно на роликах приехал. Я даже вздрогнул, до того это было неожиданно.

— Где они? — бросил он недовольно.

— К-кто? — спросил я, обмирая.

— Двое с кэ-пэ-пэ. Только что были здесь.

Македонский вопил, как целое войско, но ни я, ни страшный капитан не обращали на него внимания.

— Внутрь зашли, — сказал я, указывая на двери подъезда. — Второй этаж.

Страшный капитан немедля двинулся к крыльцу.

Я посмотрел на свою руку, обвязанную грязными бинтами, посмотрел на спину страшного капитана, который уже поднимался по ступенькам, и вдруг до меня дошло: его надо остановить. Немедленно. Потому что ничего он не понимает и никогда не поймет... Я кинулся вслед за ним и, холодея от ужаса, схватил за руку. Страшный капитан безразлично скосил глаза:

— Ты че, крысеныш?

Как же хорошо, что я был не в себе! Потому что если бы я был в себе, я бы моментально одумался и отпустил бы эту чертову руку. Но я не одумался и руку не отпустил.

— Не надо вам туда, — пробормотал я.

Брови страшного капитана полезли вверх.

— Ты так считаешь, солдат? — спросил он с непонятым удовлетворением.

В следующий момент он схватил мое запястье, рванул, и я, прикусив язык и хрустнув позвоночником, с размаху врезался в кирпичную стену. В глазах привычно потемнело. Я медленно осел на корточки, холодная острая ступенька уперлась мне в колено.

Страшный капитан некоторое время стоял надо мной, блестя жестокими прозрачными глазами, потом повернулся и продолжил подъем. Ничего не соображая, я бросился на него сзади. Мне удалось схватить его за португепю и приостановить. Каким-то неестественно быстрым движением он небрежно стряхнул меня с португепи. Тогда я схватил его за штанину, затем, дернувшись изо всех сил, смог повиснуть у него на руке, но это было последнее, на что меня хватило. «Стервец паршивый, — зашипел страшный капитан прямо над ухом. — Ну-ка перестань! Покалечу ведь!..»

— Ваню! — заорал я не своим голосом. — Ваню!

Страшный капитан снова неестественно быстро дернулся, земля ушла у меня из-под ног, и тапочки куда-то улетели, но на этот раз я ни во что не ударился.

На крыльце вдруг появился Ваню, встревоженный и грозный. Упирающегося Марцелла он крепко держал за запястье. Теперь это был не песик на поводке. Теперь это был Цербер, почувствовавший угрозу для хозяина.

— Ваню! — заорал я в отчаянии. — Уводи его отсюда, Ваню!

Меня снова подбросило, но я изо всех сил напряг мускулы и никуда не полетел. Страшный капитан выматерился. Я услышал, как он приказал Ваню остановиться и как Марцелл тоже приказал Ваню остановиться, потом меня ударило-таки о стену, и все вокруг начало стремительно скукоживаться и темнеть, но я все же успел увидеть, как Ваню, не слушая ни страшного капитана, ни Марцелла, уводит своего хозяина прочь в темноту.

Молодец, Цербер, подумал я, с облегчением закрывая глаза. Холодная острая ступенька снова упиралась мне в колено... В темноте, словно сквозь вату, я слышал сирену скорой помощи, хриплый крик Македонского и чей-то голос, наверное, голос зама Л. Вакенада, который сердито осведомлялся, что у нас здесь происходит...

Только-только начало светать, все еще спали, а я уже был в уборной за закрытой дверью и боролся с дохлой зажигалкой. Сигарету я еще ночью выклянчил у старшины. Руки мои дрожали в предвкушении. Казалось, я делаю что-то нехорошее, но нужное.

Когда зажигалка наконец ожила, а сигарета задымилась, я жадно вогнал в себя первую вязко-сладкую порцию никотина и сразу почувствовал себя лучше. Даже голова закружилась. Некоторое время я с увлечением приравнивался к забытому процессу, словно заново учился ездить на велосипеде.

— Наркоман чертов, — пробормотал я спустя какое-то время.

Я присел на подоконник у раскрытого окна и стал целенаправленно уничтожать сигарету с пугающей быстротой. Я уже знал, что она не последняя, что я снова закурил и теперь вряд ли брошу, но эту, первую мою сигарету после многомесячного воздержания, нужно было именно уничтожить, и чтобы никто о ней никогда не узнал. Это было очень важно.

В уборную неслышно вошел Юм. Я так и замер с вытянутыми в трубочку губами, с сигаретой между пальцами. Юм протер сонные глаза и усмехнулся, чем-то неуловимо похожий на призрака.

— Просыпаюсь, смотрю: тебя нет, — сказал он хрипло.

— Испугался? — спросил я довольно неприветливо.

— Еще б не испугаться... Лучше в окно посмотри.

Я посмотрел.

Сначала был только рев мотора, но потом появилась и машина. Темно-зеленый армейский уазик с затемненными стеклами ехал мимо нашего здания, быстро набирая скорость. За ним, теряя тапочки и все больше отставая, бежал Ваню. Иногда он кричал, а иногда замолкал и хватался за бок. Он, видимо, хотел, чтобы уазик остановился, но уазик только набирал ход. Вскоре Ваню споткнулся, по инерции пробежал несколько шагов, пытаясь поймать руками воздух, и упал. Я услышал противный стук, как может стучать только что-то живое обо что-то мертвое. Уазик исчез за поворотом, где были ворота КПП, а Ваню все не поднимался. Фигура его как-то незаметно уменьшилась, и я не сразу понял, что он повернулся на бок и притянул колени к груди. Как эмбрион.

Я посмотрел на Юма и сказал, что это тот самый Ваню, с которым я дрался вчера. Про остальное пока не хотелось распространяться.

— А в машине, наверное, Марцелл, — сказал Юм бесцветным голосом.

Я промолчал, глядя на Ваню. Кажется, он тихо плакал.

— Павла они, наверное, тоже забрали, — продолжал Юм. — Хотя по большому счету нужен им только Марцелл. Иначе бы и этого, — он указал на Ваню, — забрали.

— Что же теперь будет? — спросил я.

— С кем? С Павлом? Ничего страшного.

— А с Марцеллом?

— А с Марцеллом... — Юм помедлил. — А с Марцеллом наоборот. Понимаешь, это ведь как новое пришествие. Хотя, конечно, никакое это не пришествие... Представь, что будет, если Мария родит Иисуса в наше время. Куда он направится, когда вырастет? Наверное, туда, где больше всего нуждаются в утешении: в хосписы, госпитали, лепрозории, психушки. И, как и в прошлый раз, он не удержится, увидев, что тут творится, и обязательно начнет читать лекции о любви к ближнему. Любите, мол, ближнего. Не желайте жены ближнего. Не желайте ближнему того, чего не пожелаете себе... С поправкой на декларацию прав человека его, конечно, не распнут, но побить — побьют. А что еще с таким делать? Далее, когда информация просочится в нужные департаменты, его заберут и посадят в ящик, а заодно и всех тех, кто успеет стать новыми Матфеями, Иоаннами и прочими... А может, и не заберут, кто их знает. Может, оставят. У нас и без них своих Иоаннов полно... Но Иисуса точно заберут. И будет он сидеть за тремя замками и без конца отвечать на глупые вопросы, типа: почему это его отец не может поднять такой-то камень?..

— А может, он просто ненормальный, — проговорил я.

Юм пожал плечами.

— Кто знает этих целителей...

Я посмотрел в окно. Ваню так и лежал на асфальте, притянув колени к груди, и уже в голос рыдал. Я испытал некоторое сожаление. Желая, чтобы оно сейчас же исчезло, я зажал в зубах сигарету и, морщась от боли в ушибленных боках, выпрыгнул в окно.

Трава под окном была мокрая, холодная и колючая. Вообще все за окном было мокрое, холодное и колючее. Даже воздух. Я побежал трусцой, вдыхая колючий воздух, огибая колючие кусты и колючие лавочки, и вскоре оказался на дороге. Бедный апостол все рыдал, лежа на боку. Цербер, подумал я. Да, пожалуй, скорее Цербер, чем апостол. Я дождался, когда у меня выровняется дыхание, потом протянул ему руку и сказал:

— Пойдем, Ваню.

